ЛЕГЕНДАРНЫЕ СУДЬБЫ

ФАИНА РАНЕВСКАЯ

КЛОЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Фаина Георгиевна Раневская, урожденная Фельдман (1896–1984), — великая русская актриса. Трижды лауреат Сталинской премии, народная артистка СССР.

«Я дочь небогатого нефтепромышленника из Таганрога» — так говорила о себе Раневская. Фуфа Великолепная — так называли ее друзья и близкие. Невероятно острой, даже злой на язык была великая актриса, она органически не переносила пошлости и мещанства в жизни, что уж говорить о театре, которому она фанатично служила всю жизнь.

Фаина Раневская начинала писать воспоминания по заказу одного из советских издательств, но в итоге оставила это занятие, аргументируя свое решение следующим: «Деньги прожрешь, а стыд останется».

В этой книге по крупицам собраны воспоминания о великой актрисе ее коллег и друзей, ее высказывания — ироничные и злые, грустные и лиричные, письма актрисы, адресатами которых были Анна Ахматова, Марина Цветаева, Осип Мандельштам.

- Фаина Раневская
  - Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться
  - Всегда завидовала таланту: началось это с детства
  - У меня хватило ума глупо прожить жизнь
  - Не лажу с бытом… К счастью, мне очень мало надо
  - Я жила со многими театрами, но так и не получила удовольствия
  - Очень тяжело быть гением среди козявок
  - Народные артистки на дороге не валяются
  - Я давно ждала момента, когда органы оценят меня по достоинству
  - Цинизм ненавижу за его общедоступность
  - Кто произносит «фено́мен», пусть поцелует меня в задницу
  - У них были разные вкусы: она любила мужчин, а он — женщин
  - Я себя чувствую, но плохо
  - Друга любить — себя не щадить. Я была такой
  - Записки «эрзац-внука»
    - Мифологии
    - «Писать вам — потребность моей души»
    - «Ненавижу цинизм за его общедоступность»

(Записи 80-х годов)
- 100 лет одиночества
- Фаина Раневская: «Мне нужен XIX век»
  -
  - Флакончики
  - Дивный старик
  - Восьмой квартет
  - Раневская смеется и грустит
  - Как это «не убий»?!
- …Заставить человека улыбнуться
  - О Волошине
  - Об Ахматовой
  - Из переписки
  - Об Абдулове
  - О Таирове и Коонен
  - О Марецкой
  - Из переписки С.М. Михоэлсу (1944 г.)
  - Письмо Потоцкой А.П. 1965 г. (письма не послала)
  - В.И. Анджапаридзе
- Марина Неелова: Спешите делать добро
- Актер весь в судьбе героя
- Новое есть талант
- Юбилей Ф.Г. Раневской
- Фаина Раневская: Они любят меня? за что?!
  - Вам отпущено свыше…
  - Фаина Раневская: Я так люблю жизнь
- Фаина Раневская: «Театр будет жить вечно…»
- Фаина Раневская: Театр — мой праздник

Фаина Раневская
Клочки воспоминаний

Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться

Так, конечно, могла сказать только Фаина Георгиевна Раневская. Ее забавные словечки, смешные реплики, острые характеристики людей передавались из уст в уста.

Удивительна была ее популярность. Припоминаю, как мы однажды стояли с ней возле дома отдыха «Серебряный бор», где как-то одновременно отдыхали. И откуда-то маршировала группа солдат. Проходя мимо нас, они приветственно замахали руками. Я вообразил, не скрою, что это относится ко мне, и собрался порадоваться своей известности. Но со стороны солдат дружно раздалось: «Муля, не нервируй меня!» Фаина Георгиевна устало помахала им рукой и сказала мне:

— Боже, как мне надоело это «Муля, не нервируй меня!».

Эта реплика из фильма «Подкидыш» стала настолько крылатой, что преследовала Раневскую на каждом шагу. Слышал от нее самой: как-то ее на улице окружила группа ребят с криками: «Муля, не нервируй меня!» Выйдя из себя, Раневская им скомандовала: «Пионеры! Стройтесь попарно и идите в задницу!» Любопытно, что сама Раневская считала эту роль из «Подкидыша» одной из самых незначительных, а после неожиданной популярности буквально ее возненавидела. И можно себе представить ее злость, когда, вручая ей орден за творческую деятельность, Леонид Брежнев, как она мне рассказывала, произнес осточертевшие ей «Муля…» и т. д.

Поразителен сценический диапазон Раневской — от поистине трагических ролей, таких как в спектаклях «Странная миссис Сэвидж» или «Дальше — тишина», трогавших зрителей буквально до слез, до комических образов, таких как Спекулянтка в «Шторме» или мать невесты в чеховской «Свадьбе», вызывавших гомерический смех. Надо сказать, что нелегко давались Раневской эти сложнейшие психологические перевоплощения. Помню, как-то после спектакля «Дальше — тишина» мы с женой и внуком Витей зашли за кулисы с цветами для Фаины Георгиевны. Я захватил с собой и незадолго до того вышедшую книгу своих воспоминаний.

— Спасибо вам, Фаиночка, огромное. Вы играли потрясающе.

— А вы думаете, это легко дается? — спросила Раневская и вдруг заплакала. — Ах, как я устала… От всего, от всех — и от себя тоже.

Я растерянно смотрел на нее и, меняя тему разговора, сказал:

— А это, Фаиночка, наш внук, Витя. А есть еще внук поменьше, Андрюша, которого мы называем Поросюкевич.

Фаина Георгиевна улыбнулась сквозь слезы:

— Поросюкевич? Это очаровательно. А почему?

— А он с рождения был толстенький, как поросенок.

С тех пор, где и когда бы мы ни встречались, Раневская неизменно спрашивала:

— А как поживает ваш очаровательный Собакевич?

— Не Собакевич, а Поросюкевич, — обиженно поправлял я.

— Да, да. Простите, дорогой. Конечно Поросюкевич.

Но при следующей встрече все повторялось.

— Как поживает, Борис Ефимович, ваш очаровательный Собакевич? — спрашивала Раневская, лукаво улыбаясь.

— Фаиночка!!! — вопил я. — Не Собакевич, а Поросюкевич!

Мы оба хохотали. И это стало своего рода традицией при наших встречах. Прочитав подаренную мною книгу, Раневская прислала мне следующее письмо:

«Милый, милый, дорогой, дорогой Борис Ефимович. Вы не представляете, какое глубокое волнение вызвала во мне ваша книга. Читала ее с интересом особым, она очень интересна, очень талантлива. Спасибо за чудесный подарок мне и всем нам. Ваша книга очень нужна, и над многими строчками я горестно плакала… Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться. Вижу, что мне не удается сказать вам в этой записке всего, что хотела. Боюсь лишних слов. Но поверьте, что взволнована я глубоко… и полюбила вас еще больше и нежнее. Крепко, крепко обнимаю.

Душевно ваша Ф. Раневская.

P. S. Подарите мне и другие ваши книги».

Раневская находилась в дружбе с Татьяной Тэсс, хотя трудно себе представить более разные характеры: экспансивная, эмоциональная, не слишком воздержанная на язык Фаина и сугубо практичная, деловитая, скуповатая Татьяна.

Помню, мы с Татьяной Тэсс были на премьере спектакля «Странная миссис Сэвидж». Как всегда, игра Раневской произвела огромное впечатление, и мы на другой день послали ей общую телеграмму, высказывая свое восхищение. Вскоре я получил от Раневской ответную телеграмму с трогательными словами благодарности. Мы жили с Татьяной Тэсс в соседних подъездах, и, встретив ее на следующий день во дворе, я спросил:

— Таня, вы получили телеграмму от Раневской?

— Никакой телеграммы я не получала — видно, начхала она на меня. Наверно, за что-то надулась. За что — не пойму.

Через пару дней мы сидели с Раневской рядом в Доме кино

на просмотре итальянского фильма со знаменитой Клаудией Кардинале.

— Фаиночка, — спросил я, — что у вас произошло с Таней Тэсс? Она обижена, что вы ответили на нашу общую телеграмму только мне.

— А пошла она в ж… Посудите сами, Боря. Мне надо было срочно перекрутиться с деньгами. Вы знаете, что Танечка достаточно состоятельная дама. И я попросила ее выручить меня на пару дней. И вы знаете, как элегантно она мне ответила? «Фаиноч-ка, вам будет трудно их вернуть». Какая изобретательная форма отказа… По-моему, это большое свинство. Да бог с ней. Скажите лучше, как поживает ваш очаровательный Собакевич?

Когда мы выходили из зала после просмотра картины, сюжетом которой была довольно мутная история о кровосмесительной связи между братом и сестрой, кто-то спросил:

— Какое у вас впечатление, Фаина Георгиевна? На что последовал ответ, целиком в духе Раневской:

— Впечатление как будто наелась кошачьего дерьма.

Надо сказать, что подобные выражения и еще более сочные в устах Раневской воспринимались отнюдь не как неприличная брань, а как абсолютно органично присущая ей манера разговора, ни для кого не оскорбительная, а только забавная. Ведь это была Фаина Раневская! Но умела она шутить и обходясь без всяких «непечатных» словечек, а с простодушным, веселым озорством. Я был свидетелем, когда к ней домой позвонила одна надоедливая дама, завела с ней длинный, скучный разговор. Раневская некоторое время терпеливо слушала, а потом прервала ее:

— Ой, простите, голубушка. Я разговариваю с вами из автомата, а тут уже большая очередь, стучат мне в дверь.

Она положила трубку и весело рассмеялась. И это тоже была Фаина Раневская!

В день своего восьмидесятилетия я получил от Фаины Георгиевны такое письмо:

…

«Мой дорогой, очень любимый человек, очень любимый художник, мой друг, позвольте Вас так назвать. В день Вашего рождения мне так хотелось Вам сказать о моей любви, пожелать Вам только хорошего и много хорошего, но я не знала адреса, а сейчас меня навестила Таня Тэсс и дала мне слово, что мою любовь опустит в Ваш почтовый ящик. Обнимаю крепко, нежно!!! Ваша Раневская — небезызвестная артистка!»

Фаина Георгиевна Раневская ушла из жизни в 1984 году. Обидно и горько, что эта уникальная актриса была так мало

востребована в театре и в кино в достойных ее ролях. В этом непростительно повинны близорукость и недоброжелательство, и не в последнюю очередь интриганство тех, кто в ту пору делал погоду в искусстве.

Борис Ефимов

Всегда завидовала таланту: началось это с детства

Наверное, скоро умру. Мне видится детство все чаще и чаще. Разные события всплывают из недр памяти и волнуют до сердцебиения. Я вижу двор, узкий и длинный, мощенный булыжниками. Во дворе сидит на цепи лохматая собака с густой свалявшейся шерстью, в которой застрял мусор и даже гвозди, — по прозвищу Букет. Букет всегда плачет и гремит цепью. Я люблю его. Я обнимаю его за голову, вижу его добрые, умные глаза, прижимаюсь лицом к морде, шепчу слова любви. От Букета плохо пахнет, но мне это не мешает. В черном небе — белые звезды, от них светло. И мне видно из окна, как со двора волокут нашу лошадь. Кучер говорит, что лошадь подохла от старости и что тащат ее на живодерню. Я не знаю, что такое живодерня. Мне пять лет.

* * *

В пять лет была тщеславна, мечтала получить медаль за спасение утопающих… У дворника на пиджаке медаль, мне очень она нравится, я хочу такую же, но медаль дают за храбрость, объясняет дворник. Мечтаю совершить поступок, достойный медали. В нашем городе очень любили старика, доброго, веселого, толстого грузина полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы полицмейстер, плавая в море, стал тонуть и чтобы я его вытащила, не дала ему утонуть и за это мне дали медаль, как у нашего дворника. Теперь медали, ордена держу в коробке, где нацарапала: «Похоронные принадлежности».

* * *

Актрисой себя почувствовала в пятилетнем возрасте. Умер маленький братик, я жалела его, день плакала. И все-таки отодвинула занавеску на зеркале — посмотреть, какая я в слезах. Несчастной я стала в шесть лет. Гувернантка повела меня в приезжий «зверинец». В маленькой комнате сидела худая лисица с человечьими глазами. Рядом на столе стояло корыто, в нем плавали два крошечных дельфина. Вошли пьяные, шумные оборванцы и стали тыкать в дельфиний глаз, из которого

брызнула кровь. Сейчас мне семьдесят шесть лет. Все семьдесят лет я этим мучаюсь.

Говорят, любовь приходит с молоком матери. У меня пришла со «слезами матери». Мне четко видится мать: обычно тихая, сдержанная, она громко плачет. Я бегу к ней в комнату, она уронила голову на подушку, плачет, плачет — она в страшном горе. Я пугаюсь и тоже плачу. На коленях матери газета: «…вчера в Баденвейлере скончался А. П. Чехов». В газете фотография человека с добрым лицом. Бегу искать книгу Чехова. Нахожу, начинаю читать. Мне попалась «Скучная история». Я схватила книгу, побежала в сад, прочитала всю. Закрыла книжку. И на этом закончилось мое детство. Я поняла все об одиночестве человека.

Это отравило мое детство. Прошло несколько лет, и я опять услыхала страшный крик матери, она кричала: «Как же теперь жить? Его уже нет. Все кончилось, все ушло, ушла совесть…» Она убивалась, слегла, долго болела. Любовь к Толстому во мне и моя, и моей матери. Любовь и мучительная жалость и к нему, и к С. А. Только ее жаль иначе как-то. К ней нет ненависти. А вот к Н. Н. Пушкиной… ненавижу ее люто, неистово. Загадка для меня, как мог он полюбить так дуру набитую, куколку, пустяк…

* * *

Учительница подарила медальон, на нем было написано: «Лень — мать всех пороков». С гордостью носила медальон. Ненавидела гувернантку, ненавидела бонну-немку. Ночью молила Бога, чтобы бонна, катаясь на коньках, упала и расшибла голову, а потом умерла. Любила читать, читала запоем, над книгой, где кого-то обижали, плакала навзрыд — тогда отнимали книгу и меня ставили в угол. Училась плохо, арифметика была страшной пыткой. Писать без ошибок так и не научилась. Считать тоже. Наверное, в городе, где я родилась, было множество меломанов. Знакомые мне присяжные поверенные собирались друг у друга, чтобы играть квартеты великих классиков. Однажды в специальный концертный зал пригласили Скрябина. У рояля стояла большая лира цветов. Скрябин, выйдя, улыбнулся цветам. Лицо его было обычным, заурядным, пока он не стал играть. И тогда я услыхала и увидела перед собой гения. Наверное, его концерт втянул, втолкнул мою душу в музыку. И стала она страстью моей долгой жизни.

* * *

Всегда завидовала таланту: началось это с детства. Приходил в гости к старшей сестре гимназист, читал ей стихи, флиртовал, читал наизусть. Чтение повергало меня в трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломая руки. Стихи назывались «Белое покрывало». Кончалось чтение словами: «…так могла солгать лишь мать». Гимназист зарыдал, я была в экстазе. Подруга сестры читала стихи: «Увидев почерк мой, Вы, верно, удивитесь, я не писала Вам давно и думаю, Вам это все равно». Подруга сестры тоже и рыдала, и хохотала. И опять мой восторг, и зависть, и горе: почему у меня ничего не выходило, когда я пыталась им подражать? Значит, я не могу стать актрисой? Теперь, к концу моей жизни, я не выношу актеров-«игральщиков». Не выношу органически, до физического отвращения: меня тошнит от партнера, «играющего роль», а не живущего тем, что ему надлежит делать в силу обстоятельств. Сейчас мучаюсь от партнера, который «представляет» всегда одинаково, как запись на пластинке. Если актер импровизирует — ремесло, мерзкое ремесло!

* * *

Я стою в детской на подоконнике и смотрю в окно дома напротив. Нас разделяет узкая улица, и потому мне хорошо видно все, что там происходит. Там танцуют, смеются, визжат. Это бал в офицерском собрании. Мне семь лет, я не знаю слов «пошлость» и «мещанство», но мне очень не нравится все, что вижу на втором этаже в окне дома напротив. Я не буду, когда вырасту, взвизгивать, обмахиваться носовым платком или веером, так хохотать и гримасничать!.. Там чужие, они мне не нравятся, но я смотрю на них с интересом. Потом офицеры и их дамы уехали, и в доме напротив поселилась учительница географии — толстая важная старуха, у которой я училась, поступив в гимназию. Она ставила мне двойки и выгоняла из класса, презирая меня за невежество в области географии. В ее окно я не смотрела: там не было ничего интересного. Через много лет, став актрисой, я получила роль акушерки Змеюкиной в чеховской «Свадьбе». Мне очень помогли мои детские впечатления-воспоминания об офицерских балах. Помогли наблюдательность, стремление увидеть в человеке характерное: смешное или жалкое, доброе или злое… Играть, представлять кого-либо из людей, мне знакомых, я стала лет с пяти — и часто бывала наказана за эти показы…

* * *

В театре в нашем городке гастролировали и прославленные артисты. И теперь еще я слышу голос и вижу глаза Павла Самойлова в «Привидениях» Ибсена: «Мама, дай мне солнца…» Помню, я рыдала… Театр был небольшой, любовно построенный с помощью меценатов города. Первое впечатление от оперы было страшным. Я холодела от ужаса, когда кого-нибудь убивали и при этом пели. Я громко кричала и требовала, чтобы меня увезли в оперу, где не поют. Кажется, напугавшее меня зрелище называлось «Аскольдова могила». А когда убиенные выходили раскланиваться и при этом улыбались, я чувствовала себя обманутой и еще больше возненавидела оперу.

* * *

Впервые в кино. Обомлела. Фильм был в красках (вероятно, раскрашенный вручную, как позднее флаг в «Броненосце „Потемкине“»), возможно, «Ромео и Джульетта». Мне лет двенадцать. Я в экстазе, хорошо помню мое волнение. Схватила копилку в виде большой свиньи, набитую мелкими деньгами (плата за рыбий жир). Свинью разбиваю. Я в неистовстве — мне надо совершить что-то большое, необычное. По полу запрыгали монеты, которые я отдала соседским детям: «Берите, берите, мне ничего не нужно…» И сейчас мне тоже ничего не нужно — мне восемьдесят. Даже духи из Парижа, мне их прислали, — подарки друзей. Теперь перебираю в уме, кому бы их подарить… Экстазов давно не испытываю. Жизнь кончена, а я так и не узнала, что к чему.

* * *

Ребенка с первого класса школы надо учить науке одиночества.

У меня хватило ума глупо прожить жизнь

Я социальная психопатка. Комсомолка с веслом.

Вы меня можете пощупать в метро. Это я там стою, полусклонясь, в купальной шапочке и медных трусиках, в которые все октябрята стремятся залезть. Я работаю в метро скульптурой. Меня отполировало такое количество лап, что даже великая проститутка Нана могла бы мне позавидовать.

* * *

Ахматова мне говорила: «Вы великая актриса». Ну да, я великая артистка, и поэтому я ничего не играю, меня надо сдать в музей. Я не великая артистка, а великая жопа.

* * *

Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи.

* * *

Жизнь бьет ключом по голове!

* * *

Эпикур говорил: хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался.

* * *

«Писать мемуары — все равно что показывать свои вставные зубы», — говорил Гейне. Я скорее дам себя распять, чем напишу книгу «Сама о себе». Не раз начинала вести дневник, но всегда уничтожала написанное. Как можно выставлять себя напоказ? Это нескромно и, по-моему, отвратительно.

* * *

Пристают, просят писать, писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо — не хочется. Хорошо — неприлично. Значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки, а это постыдно. Это как клоп на манишке. Я знаю самое главное, я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так доживаю с этой отдачей. Воспоминания — это богатство старости.

* * *

Если бы я, уступая просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга — «Судьба — шлюха».

* * *

Три года писала книгу воспоминаний, польстившись на аванс две тысячи рублей с целью приобрести теплое пальто.

* * *

Меня попросили написать автобиографию. Я начала так: «Я — дочь небогатого нефтепромышленника…»

* * *

Книгу писала три года, прочитав, порвала. Книги должны писать писатели, мыслители или же сплетники.

* * *

Если бы я вела дневник, я бы каждый день записывала одну фразу: «Какая смертная тоска», и все. Я бы еще записала, что театр стал моей богодель-ней, а я еще могла бы что-то сделать.

* * *

Жизнь отнимает у меня столько времени, что писать о ней совсем некогда.

* * *

Жизнь моя… Прожила около, все не удавалось. Как рыжий у ковра.

* * *

Жизнь проходит и не кланяется, как сердитая соседка.

* * *

Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй.

* * *

Ничего, кроме отчаянья от невозможности что-либо изменить в моей судьбе.

* * *

Главное в том, чтоб себя сдерживать, — или я, или кто-то другой так решил, но это истина. С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней.

* * *

У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Живу только собою — какое самоограничение!

* * *

День кончился. Еще один напрасно прожитый день никому не нужной моей жизни.

* * *

Молодой человек! Я ведь помню порядочных людей… Боже, какая я старая!

* * *

Я как старая пальма на вокзале: никому не нужна, а выбросить жалко.

* * *

Не могу его есть (мясо): оно ходило, любило, смотрело… Может быть, я психопатка?

Про курицу, которую пришлось выбросить из-за того, что нерадивая домработница сварила ее со всеми внутренностями, Фаина Георгиевна грустно сказала: «Но ведь для чего-то она родилась!»

* * *

— Фаина Георгиевна, как ваши дела?

— Вы знаете, милочка, что такое говно? Так вот оно по сравнению с моей жизнью — повидло.

* * *

— Как ваша жизнь, Фаина Георгиевна?

— Я вам еще в прошлом году говорила, что говно. Но тогда это был марципанчик.

* * *

Бог мой, как прошмыгнула жизнь. Я даже никогда не слышала, как поют соловьи.

* * *

Жизнь — это небольшая прогулка перед вечным сном.

* * *

Жизнь — это затяжной прыжок из п…ды в могилу.

* * *

Страшно грустна моя жизнь. А вы хотите, чтобы я воткнула в жопу куст сирени и делала перед вами стриптиз.

* * *

Теперь, в старости, я поняла, что «играть» ничего не надо.

* * *

Отвратительные паспортные данные. Посмотрела в паспорт, увидела, в каком году я родилась, и только ахнула.

* * *

Паспорт человека — это его несчастье, ибо человеку всегда должно быть восемнадцать лет, а паспорт лишь напоминает, что ты не можешь жить, как восемнадцатилетний человек!

* * *

Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда он позволяет доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я все живу. Бирма — и та умерла, а уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!

* * *

Старая харя не стала моей трагедией — в двадцать два года я уже гримировалась старухой и привыкла, и полюбила старух

моих в ролях. А недавно написала моей сверстнице: «Старухи, я любила вас, будьте бдительны!»

* * *

Старухи бывают ехидны, а к концу жизни бывают и стервы, и сплетницы, и негодяйки… Старухи, по моим наблюдениям, часто не обладают искусством быть старыми. А к старости надо добреть с утра до вечера!

* * *

Сегодня ночью думала о том, что самое страшное — это когда человек принадлежит не себе, а своему распаду.

* * *

Мысли тянутся к началу жизни — значит, жизнь подходит к концу.

* * *

Книппер-Чехова, дивная старуха, однажды сказала мне: «Я начала душиться только в старости».

* * *

Еду в Ленинград. На свидание. Накануне сходила в парикмахерскую. Посмотрелась в зеркало — все в порядке. Волнуюсь, как пройдет встреча. Настроение хорошее. И купе отличное, СВ, я одна. В дверь постучали.

— Да, да!

Проводница:

— Чай будете?

— Пожалуй… Принесите стаканчик, — улыбнулась я.

Проводница прикрыла дверь, и я слышу ее крик на весь коридор:

— Нюся, дай чай старухе!

Все. И куда я, дура, собралась, на что надеялась?! Нельзя ли повернуть поезд обратно?…

* * *

В шестьдесят лет мне уже не казалось, что жизнь кончена, и, когда седой как лунь театровед сказал: «Дай Бог каждой женщине вашего возраста выглядеть так, как вы», спросила игриво:

— А сколько вы мне можете дать?

— Ну, не знаю, лет семьдесят, не больше.

От удивления я застыла с выпученными глазами и с тех пор никогда не кокетничаю возрастом.

* * *

В Театре имени Моссовета с огромным успехом шел спектакль «Дальше — тишина». Главную роль играла уже пожилая Раневская. Как-то после спектакля к ней подошел зритель и спросил:

— Простите за нескромный вопрос, а сколько вам лет?

— В субботу будет сто пятнадцать, — тут же ответила актриса.

Поклонник обмер от восторга и сказал:

— В такие годы и так играть!

* * *

Одиноко. Смертная тоска. Мне восемьдесят один год…

* * *

Ничто так не дает понять и ощутить своего одиночества, как когда некому рассказать сон.

* * *

Сижу в Москве, лето, не могу бросить псину. Сняли мне домик за городом и с сортиром. А в мои годы один может быть любовник — домашний клозет.

* * *

Когда Раневская получила новую квартиру, друзья перевезли ее немудрящее имущество, помогли расставить и разложить все по местам и собрались уходить. Вдруг она заголосила:

— Боже мой, где мои похоронные принадлежности?! Куда вы положили мои похоронные принадлежности? Не уходите же, я потом сама ни за что не найду, я же старая, они могут понадобиться в любую минуту!

Все стали искать эти «похоронные принадлежности», не совсем понимая, что, собственно, следует искать. И вдруг Раневская радостно возгласила:

— Слава богу, нашла!

И торжественно продемонстрировала всем коробочку со своими орденами и медалями.

* * *

В старости главное — чувство достоинства, а его меня лишили.

* * *

Старость — это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность.

* * *

Стареть скучно, но это единственный способ жить долго.

* * *

Старость — это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы.

* * *

Или я старею и глупею, или нынешняя молодежь ни на что не похожа! Раньше я просто не знала, как отвечать на их вопросы, а теперь даже не понимаю, о чем они спрашивают.

* * *

Как-то в присутствии Раневской начали ругать современную молодежь.

— Вы правы, — согласилась актриса, — сегодняшняя молодежь ужасна.

И после паузы добавила:

— Но еще хуже то, что мы не принадлежим к ней.

* * *

Я кончаю жизнь банально — стародевически: обожаю котенка и цветочки до страсти.

* * *

Сейчас долго смотрела фото — глаза собаки человечны удивительно. Люблю их, умны они и добры, но люди делают их злыми.

* * *

Читаю дневник Маклая, влюбилась и в Маклая, и в его дикарей.

* * *

Читаю Даррелла, у меня его душа, а ум курицы. Даррелл писатель изумительный, а его любовь к зверью делает его самым мне близким сегодня в злом мире.

* * *

«Моя собака живет лучше меня! — пошутила однажды Раневская. — Я наняла для нее домработницу. Так вот и получается, что она живет, как Сара Бернар, а я — как сенбернар…»

* * *

Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много — в Книгу о вкусной и здоровой пище.

* * *

Мне иногда кажется, что я еще живу только потому, что очень хочу жить. За пятьдесят три года выработалась привычка жить на свете. Сердце работает вяло и все время делает попытки перестать мне служить, но я ему приказываю: «Бейся, окаянное, и не смей останавливаться».

* * *

Сегодня встретила первую любовь. Шамкает вставными челюстями, а какая это была прелесть. Мы оба стеснялись нашей старости.

* * *

Сейчас, когда человек стесняется сказать, что ему не хочется умирать, он говорит так: «Очень хочется выжить, чтобы посмотреть, что будет потом». Как будто, если бы не это, он немедленно был бы готов лечь в гроб.

* * *

А может быть, поехать в Прибалтику? А если там умру? Что я буду делать?

* * *

Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите: «Умерла от отвращения».

* * *

Похороны — спектакль для любопытствующих обывателей.

Не лажу с бытом… К счастью, мне очень мало надо

Фаина Георгиевна, как могла, всячески старалась преодолеть быт. Уборка, еда, одежда — все это было для нее тяжким испытанием.

* * *

Угнетает гадость в людях, в себе самой: люди бегают, носятся, скупают, закупают, магазины пусты, — слух о денежной реформе, — замучилась долгами, нищетой, хожу как оборванка — «народная артистка». К счастью, мне очень мало надо.

* * *

Поняла, в чем мое несчастье: скорее поэт, доморощенный философ, бытовая дура — не лажу с бытом! Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть. У всех есть приятельницы, у меня их нет и не может быть. Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я.

* * *

Мое богатство, очевидно, в том, что мне оно не нужно.

* * *

Оставшись в послереволюционной России, Раневская очень бедствовала и в какой-то трудный момент обратилась за помощью к одному из приятелей своего отца.

Тот ей сказал: «Сударыня, поймите меня правильно: дать дочери Фельдмана мало я не могу. А много — у меня уже нет…»

* * *

Третий час ночи… Знаю, не засну, буду думать, где достать

деньги, чтобы отдохнуть во время отпуска мне, и не одной, а с П. Л. (Павлой Леонтьевной Вульф). Перерыла все бумаги, обшарила все карманы и не нашла ничего похожего на денежные знаки…

* * *

Раневской деньги нужны были главным образом для того, чтобы отдавать их другим. Она не просто любила делать подарки, она не могла без этого жить. Дарить — это было основное качество Фаины Георгиевны.

* * *

В Москве можно выйти на улицу одетой, как Бог даст, и никто не обратит внимания. В Одессе мои ситцевые платья вызывают повальное недоумение, это обсуждают в парикмахерских, зубных амбулаториях, трамвае, частных домах. Всех огорчает моя чудовищная скупость — ибо в бедность никто не верит.

* * *

Многие современники Фаины Георгиевны знали ее как вспыльчивого, порой капризного, часто язвительного человека. Но никто и никогда не знал ее скупердяйкой и жадиной. О доброте и щедрости Раневской до сих пор многие вспоминают со слезами на глазах. Говорили, что любой бедный человек мог подсесть к ней в транспорте и, попросив денег, тут же их получить. Ей должны были все актеры, и о долгах этих она никогда не вспоминала. При этом Фаина Раневская жила очень скромно. Единственная роскошь, которую она себе позволяла, — это, нежась в ванне, пить чай из самовара.

* * *

Эрзац-внук пришел к Раневской с любимой девушкой и представляет ее:

— Фаина Георгиевна, это Катя. Она умеет отлично готовить, любит печь пироги, аккуратно прибирает квартиру.

— Прекрасно, мой мальчик! Тридцать рублей в месяц, и пусть

приходит по вторникам и пятницам.

* * *

У Раневской часто сменялись домработницы. Они были ее бесконечным кошмаром. Приходили в дом, как завоеватели, и уходили, как мародеры с поля боя. Лиза была, пожалуй, самой яркой из них.

— Что сегодня на обед? — интересуется Фаина Георгиевна у Лизы, когда та возвращается из магазина.

— Детское мыло и папиросы купила.

— А что к обеду?

— Вы очень полная, вам не надо обедать, лучше в ванне купайтесь.

— А где сто рублей?

— Ну вот детское мыло, папиросы купила.

— Ну а еще?

— Да что вам считать! Деньги от дьявола, о душе надо думать. Еще зубную пасту купила.

— У меня есть зубная паста.

— Я в запас, скоро ничего не будет, ей-богу, тут конец света на носу, а вы сдачу спрашиваете.

Фаина Георгиевна позволяла себя обманывать и обкрадывать, философски считая, что кому-то, возможно, ее материальные блага нужнее.

* * *

Лиза бесконечное количество раз прощалась и вновь пользовалась добротой своей хозяйки. Так, однажды в гости к Раневской пришла Любовь Орлова в шикарной норковой шубе. Домработница актрисы, одержимая страстью найти себе спутника жизни, упросила Фаину Георгиевну, пока Орлова у нее в гостях, разрешить надеть эту шубу, чтобы произвести впечатление на очередного поклонника. Раневская разрешила, в чем потом горько раскаялась, поскольку Лизавета прогуляла аж три часа, а Любовь Орлова так и не поняла, почему Фаина Георгиевна столь настойчиво уговаривала ее посидеть еще.

* * *

Раневская решила продать шубу. Открывает перед потенциальной покупательницей дверь шкафа, и вдруг оттуда вылетает здоровенная моль. Фаина Георгиевна провожает ее взглядом и внушительным тоном — с упреком — вопрошает: «Ну что, сволочь, нажралась?»

* * *

Раневская всю жизнь спала на узенькой тахте. Приобретенную однажды шикарную двуспальную кровать подарила на свадьбу своей домработнице Лизе.

* * *

Комната, в которой она жила в Старопименовском переулке, была кишка без окон, так что ее можно было уподобить гробу. «Живу, как Диоген, — говорила она, — днем с огнем».

* * *

Мне непонятно всегда было: люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства.

Я жила со многими театрами, но так и не получила удовольствия

В отзыве «домосковского» критика Раневская описана так: «Очаровательная жгучая брюнетка, одета роскошно и ярко, тонкая фигурка утопает в кринолине и волнах декольтированного платья. Она напоминает маленького сверкающего колибри…» Для зрителя, знающего актрису только по фильмам и поздним ролям, это описание кажется противоречащим ее данным. Но, судя по фотографиям 20-х годов, Фаина действительно была красавицей. Не случайно в первом контракте ее амплуа обозначено — «героиня-кокетт».

* * *

В 1915 году к директору одного из подмосковных театров явилась молодая девица весьма неординарной наружности с рекомендательным письмом. Письмо было подписано близким приятелем директора, московским антрепренером Соколовским. «Дорогой Ванюша, — писал он, — посылаю тебе эту дамочку, чтобы только отвязаться от нее. Ты уж сам как-нибудь деликатно, намеком, в скобках, объясни ей, что делать ей на сцене нечего, что никаких перспектив у нее нет. Мне самому, право же, сделать это неудобно по ряду причин, так что ты, дружок, как-нибудь отговори ее от актерской карьеры — так будет лучше и для нее, и для театра. Это совершенная бездарь, все роли она играет абсолютно одинаково, фамилия ее Раневская…» К счастью, директор театра не послушался совета Соколовского.

* * *

Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила чернилами. Высушив, решила украсить ею туалет, набросив лису на шею. Платье на мне было розовое, с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнером в комедии «Глухонемой» (партнером моим был актер Ечменев), он, увидев черную шею, чуть не потерял сознание. Лисица на мне непрестанно линяла. Публика веселилась при виде моей черной шеи, а с премьершей театра, сидевшей в ложе, бывшим моим педагогом, случилось нечто вроде истерики (это была П. Л.

Вульф). И это был второй повод для меня уйти со сцены.

* * *

Первый сезон в Крыму, я играю в пьесе Сумбато-ва прелестницу, соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно-нежным голосом: «Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея…» После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены.

* * *

Я провинциальная актриса. Где я только не служила! Только в городе Вездесранске не служила!..

* * *

Я сегодня играла очень плохо. Огорчилась перед спектаклем и не могла играть: мне сказали, что вымыли сцену для меня. Думали порадовать, а я расстроена, потому что сцена должна быть чистой на каждом спектакле.

* * *

Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки.

* * *

Нас приучили к одноклеточным словам, куцым мыслям, — играй после этого Островского!

* * *

Сегодняшний театр — торговая точка. Контора спектаклей… Это не театр, а дачный сортир. Так тошно кончать свою жизнь в

сортире.

* * *

Когда нужно пойти на собрание труппы, такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой.

* * *

В театр хожу, как в мусоропровод: фальшь, жестокость, лицемерие, ни одного честного слова, ни одного честного глаза! Карьеризм, подлость, алчные старухи!

* * *

В нынешний театр я хожу так, как в молодости шла на аборт, а в старости рвать зубы. Ведь знаете, как будто бы Станиславский не рождался. Они удивляются, зачем я каждый раз играю по-новому.

* * *

Великий Станиславский попутал все в театральном искусстве. Сам играл не по системе, а что сердце подскажет.

* * *

Эти новаторы погубили русский театр. С приходом режиссуры кончились великие актеры, поэтому режиссуру я ненавижу (кроме Таирова). Они показывают себя.

* * *

Театр катится в пропасть по коммерческим рельсам. Бедный, бедный К.С.

* * *

Я — выкидыш Станиславского.

* * *

После спектакля, в котором я играю, я не могу ночью уснуть от волнения. Но если я долго не играю, то совсем перестаю спать.

* * *

Что делать, когда надо действовать, надо напрягать нечеловеческие усилия без желания, а, напротив, играя с отвращением непреодолимым почти все, над чем я тружусь всю мою жизнь?

* * *

Для меня каждый спектакль мой — очередная репетиция. Может быть, поэтому я не умею играть одинаково. Иногда репетирую хуже, иногда лучше, но хорошо — никогда.

* * *

Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно.

* * *

Чтобы играть Раскольникова, нужно в себе умертвить обычного, земного, нужно стать над собой — нужно искать в себе Бога.

* * *

Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной. Но ведь зрители действительно любят. В чем же дело? Почему ж так тяжело в театре? В кино тоже гангстеры.

* * *

Говорят, что герой не тот, кто побеждает, а тот, кто смог остаться один. Я выстояла, даже оставаясь среди зверей, чтобы доиграть до конца. Зритель ни в чем не виновен. Меня боятся…

* * *

В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части.

* * *

Перестала думать о публике и сразу потеряла стыд. А может быть, в буквальном смысле потеряла стыд — ничего о себе не знаю.

* * *

Я родилась недовыявленной и ухожу из жизни недопоказанной. Я недо… И в театре тоже. Кладбище несыгранных ролей. Все мои лучшие роли сыграли мужчины.

* * *

Мне бы только не мешали, а уж помощи я не жду… Режиссер говорит мне: пойдите туда, станьте там, — а я не хочу стоять «там» и идти «туда». Это против моей внутренней жизни, или я пока этого еще не чувствую.

* * *

— Почему, Фаина Георгиевна, вы не ставите и свою подпись под этой пьесой? Вы же ее почти заново переписали.

— А меня это устраивает. Я играю роль яиц: участвую, но не вхожу.

* * *

Узнав, что ее знакомые идут сегодня в театр посмотреть ее на сцене, Раневская пыталась их отговорить:

— Не стоит ходить: и пьеса скучная, и постановка слабая… Но раз уж все равно идете, я вам советую уходить после второго акта.

— Почему после второго?

— После первого очень уж большая давка в гардеробе.

* * *

— Я была вчера в театре, — рассказывала Раневская. — Актеры играли так плохо, особенно Дездемона, что когда Отелло душил ее, то публика очень долго аплодировала.

* * *

Как-то на южном море Раневская указала рукой на летящую чайку и сказала:

— МХАТ полетел.

* * *

— Говорят, что этот спектакль не имеет успеха у зрителей?

— Ну это еще мягко сказано, — заметила Раневская. — Я вчера позвонила в кассу и спросила, когда начало представления.

— И что?

— Мне ответили: «А когда вам будет удобно?»

* * *

Стараюсь припомнить, встречала ли в кино за двадцать шесть лет человекообразных?

* * *

Четвертый раз смотрю этот фильм — и должна вам сказать, что сегодня актеры играли, как никогда.

* * *

В свое время именно Эйзенштейн дал застенчивой, заикающейся дебютантке, только появившейся на «Мосфильме», совет, который оказал значительное влияние на ее жизнь.

— Фаина, — сказал Эйзенштейн, — ты погибнешь, если не научишься требовать к себе внимания, заставлять людей подчиняться твоей воле. Ты погибнешь, и актриса из тебя не получится!

Вскоре Раневская продемонстрировала наставнику, что кое-чему научилась.

Узнав, что ее не утвердили на роль в «Иване Грозном», она пришла в негодование и на чей-то вопрос о съемках этого фильма крикнула:

— Лучше я буду продавать кожу с жопы, чем сниматься у Эйзенштейна!

Автору «Броненосца» незамедлительно донесли, и он отбил из Алма-Аты восторженную телеграмму: «Как идет продажа?»

* * *

Раневская познакомилась и подружилась с теткой режиссера Львовича, которая жила в Риге, но довольно часто приезжала в Москву. Тетку эту тоже звали Фаина, что невероятно умиляло Раневскую, которая считала свое имя достаточно редким.

— Мы с вами две Феньки, — любила при встрече повторять Раневская. — Это два чрезвычайно редких и экзотических имени.

Однажды сразу после выхода фильма «Осторожно, бабушка!» Фаина Раневская позвонила в Ригу своей тезке и спросила, видела ли та фильм?

— Еще не видела, но сегодня же пойду и посмотрю!

— Так-так, — сказала Раневская. — Я, собственно, зачем звоню… Звоню, чтобы предупредить — ни в коем случае не ходите, не тратьте деньги на билет, фильм — редкое г…!

* * *

Когда мне снится кошмар — это значит, я во сне снимаюсь в кино.

* * *

Сняться в плохом фильме — все равно что плюнуть в

вечность!

* * *

О своих работах в кино: «Деньги съедены, а позор остался».

* * *

Каплер звонил, предлагал у него выступить. Ф. Г. махнула рукой:

— Только мне и лезть на телевидение. Я пыталась отшутиться: «Представляете — мать укладывает ребенка спать, а тут я своей мордой из телевизора: „Добрый вечер!“ Ребенок на всю жизнь заикой сделается…» Или жена с мужем выясняют отношения, и только он решит простить ее, тут я влезаю в их квартиру. «Боже, до чего отвратительны женщины!» — понимает он, и примирение разваливается. Нет уж, дорогой Люсенька, я скорее соглашусь станцевать Жизель, чем выступить по телевидению. С меня хватит и радио. Утром, когда работает моя точка, я хоть могу мазать хлеб маслом и пить чай, не уставясь, как умалишенная, в экран. Да у меня его и нет.

Очень тяжело быть гением среди козявок

Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров.

* * *

Гёте сказал: «Все должно быть Единым, вытекать из Единого и возвращаться в Единое». Это для нас, для актеров, основа!

* * *

Для актрисы не существует никаких неудобств, если это нужно для роли.

* * *

Очень тяжело быть гением среди козявок (об Эйзенштейне).

* * *

Есть люди, хорошо знающие, что к чему. В искусстве эти люди сейчас мне представляются бандитами, подбирающими ключи.

* * *

Раневская долгие годы работала в Театре имени Моссовета. Однако отношения с главным режиссером у нее не сложились, и Завадскому частенько доставалось от ее острого языка.

Как-то Завадский, который только что к своему юбилею получил звание Героя Социалистического Труда, опаздывал на репетицию. Ждали долго. Наконец, не выдержав, Раневская спросила с раздражением:

— Ну, где же наша Гертруда?

* * *

Однажды Юрий Завадский крикнул в запале актрисе:

— Фаина Георгиевна, вы своей игрой сожрали весь мой режиссерский замысел!

— То-то у меня ощущение, что я наелась дерьма! — парировала великая старуха.

* * *

Завадскому дают награды не по способностям, а по потребностям. У него нет только звания «Мать-героиня».

* * *

С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней. Терплю даже Завадского.

* * *

Присказка Раневской, порожденная ее трениями на профессиональной почве с Юрием Завадским:

«Вы знаете, что снится Завадскому? Ему снится, что он уже похоронен в Кремлевской стене».

* * *

Он (Завадский) умрет от расширения фантазии.

* * *

Геннадий Бортников встретился с Раневской через несколько дней после похорон Ю. Завадского: «Она прижала меня к себе и долго молчала. Молчал и я. В глазах Фаины Георгиевны была какая-то отрешенность.

— Осиротели, — сказала она. — Тяжело было с ним, а без него будет совсем худо».

* * *

Я знала его всю жизнь. Со времени, когда он только-только начинал, жизнь нас свела, и все время мы прошли рядом. И я грущу, тоскую о нем, мне жаль, что он ушел раньше меня. Я чувствую свою вину перед ним, ведь я так часто подшучивала над ним.

* * *

«Шатров — это Крупская сегодня» — так определила Раневская творчество известного драматурга, автора многочисленных пьес о Ленине.

* * *

Когда я говорю о «дерьме», то имею в виду одно: знал ли Сергей Владимирович, что всех детей, которые после этого фильма добились возвращения в Советский Союз, прямым ходом отправляли в лагеря и колонии? Если знал, то тридцать сребреников не жгли руки?… Вы знаете, что ему дали Сталинскую премию за «Дядю Степу»? Михаил Ильич Ромм после этого сказал, что ему стыдно носить лауреатский значок. Язвительный Катаев так изобразил его в «Святом колодце», такой псевдоним придумал: Осетрина (Михалков действительно похож на длинного осетра) — и живописал его способность, нет, особый нюх, позволяющий всегда оказываться среди видных людей или правительственных чиновников, когда те фотографируются.

* * *

— Ну-с, Фаина Георгиевна, и чем же вам не понравился финал моей последней пьесы?

— Он находится слишком далеко от начала.

— Очень сожалею, Фаина Георгиевна, что вы не были на премьере моей новой пьесы, — похвастался Раневской Виктор Розов. — Люди у касс устроили форменное побоище!

— И как? Удалось им получить деньги обратно?

* * *

Сейчас актеры не умеют молчать, а кстати, и говорить!

* * *

Сейчас все считают, что могут быть артистами только потому, что у них есть голосовые связки.

* * *

Ну надо же! Я дожила до такого ужасного времени, когда исчезли домработницы. И знаете почему? Все домработницы ушли в актрисы.

* * *

Вассу играла в тридцать шестом году… Сравнивая и вспоминая то время, поняла, как сейчас трудно. Актеры — пошлые, циничные. А главное — талант сейчас ни при чем. Играет всякий, кому охота.

* * *

Талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности.

* * *

Для меня всегда было загадкой, как великие актеры могли играть с артистами, от которых нечем заразиться, даже насморком. Как бы растолковать, бездари: никто к вам не придет, потому что от вас нечего взять. Понятна моя мысль неглубокая?

* * *

Как могли великие актеры играть с любым дерьмом? Очевидно, только малоталантливые актеры жаждут хорошего, первоклассного партнера, чтоб от партнерства взять для себя необходимое, чтоб поверить — я уже мученица. Ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться, и вся моя долгая жизнь в театре — Голгофа.

* * *

Раневскую спросили, почему у Марецкой все звания и награды, а у нее намного меньше. На что Раневская ответила:

— Дорогие мои! Чтобы получить все это, мне нужно сыграть как минимум Чапаева!

* * *

У этой актрисы жопа висит и болтается, как сумка у гусара.

* * *

У нее голос — будто в цинковое ведро ссыт.

* * *

Обсуждая только что умершую подругу-актрису:

— Хотелось бы мне иметь ее ноги — у нее были прелестные ноги! Жалко, теперь пропадут.

* * *

— Нонна, что, артист Н. умер?

— Умер.

— То-то я смотрю, его хоронят…

* * *

Птицы ругаются, как актрисы из-за ролей. Я видела, как воробушек явно говорил колкости другому, крохотному и немощному, и в результате ткнул его клювом в голову. Все как у людей.

* * *

Критикессы — амазонки в климаксе.

* * *

Раневская участвовала в заседании приемной комиссии в театральном институте.

Час, два, три…

Последняя абитуриентка в качестве дополнительного вопроса получает задание:

— Девушка, изобразите нам что-нибудь эротическое с крутым обломом в конце…

Через секунду перед членами приемной комиссии девушка начинает нежно стонать:

— А…аа…ааа… Аааа… Аа-аа-аапчхи!!

* * *

Как-то Раневская позвонила Михаилу Новожихину, ректору Театрального училища им. М. С. Щепкина:

— Михаил Михайлович, дорогой мой, у меня к Вам великая просьба. К Вам в училище поступает один абитуриент, страшно талантливый. Фамилия его Малахов. Вы уж проследите лично, он настоящий самородок, не проглядите, пожалуйста…

Разумеется, Новожихин отнесся к такой высокой рекомендации со всем вниманием и лично присутствовал на экзамене. Малахов не произвел на него никакого впечатления и даже, напротив, показался абсолютно бездарным. После долгих колебаний он решил-таки позвонить Раневской и как-нибудь вежливо и тактично отказать ей в просьбе. Едва только начал он свои объяснения, как Фаина Георгиевна закричала в трубку:

— Ну как? Г…? Гоните его в шею, Михаил Михайлович! Я так и чувствовала, честное слово… Но вот ведь характер какой, меня просят посодействовать и дать рекомендацию, а я отказать никому не могу.

* * *

Получаю письма: «Помогите стать актером». Отвечаю: «Бог поможет!»

Народные артистки на дороге не валяются

Во время гастрольной поездки в Одессу Раневская пользовалась огромной популярностью и любовью зрителей. Местные газеты выразились таким образом: «Одесса делает Раневской апофеоз!»

* * *

Актриса прогуливалась по городу, а за ней долго следовала толстая гражданка, то обгоняя, то заходя сбоку, то отставая, пока наконец не решилась заговорить:

— Я не понимаю, не могу понять, вы — это она?

— Да, да, да, — басом ответила Раневская. — Я — это она!

* * *

На улице в Одессе к Раневской обратилась прохожая:

— Простите, мне кажется, я вас где-то видела… Вы в кино не снимались?

— Нет, — отрезала Раневская, которой надоели уже эти бесконечные приставания. — Я всего лишь зубной врач.

— Простите, — оживилась ее случайная собеседница. — Вы зубной врач? А как ваше имя?

— Черт подери! — разозлилась Раневская, теперь уже обидевшись на то, что ее не узнали. — Да мое имя знает вся страна!

* * *

За Раневской по одесской улице бежит поклонник, настигает и радостно кричит, протягивая руку:

— Здравствуйте! Позвольте представиться, я — Зяма Иосифович Бройтман…

— А я — нет! — отвечает Раневская и продолжает прогулку.

* * *

Назойливая поклонница выпрашивает у Фаины Григорьевны номер ее телефона. На что та отвечает с изумлением в глазах: «Милая, вы что, с ума сошли? Ну откуда я знаю свой телефон? Я же сама себе никогда не звоню».

* * *

После очередного спектакля, уже в гримерке, глядя на цветы, записки, письма, открытки, Раневская нередко замечала:

— Как много любви, а в аптеку сходить некому…

Чтобы получить признание, надо, даже необходимо умереть.

* * *

Однажды Раневская отправилась в магазин за папиросами, но попала туда в тот момент, когда магазин закрывался на обед. Уборщица, увидев стоящую у дверей Раневскую, бросила метелку и швабру и побежала отпирать дверь.

— А я вас конечно же узнала! — обрадованно заговорила уборщица, впуская Раневскую. — Как же можно не впустить вас в магазин, мы ведь вас все очень любим. Поглядишь этак на вас, на ваши роли, и собственные неприятности забываются. Конечно, для богатых людей можно найти и более шикарных артисток, а вот для бедного класса вы как раз то, что надо!

Такая оценка ее творчества очень понравилась Раневской, и она часто вспоминала эту уборщицу и ее бесхитростные комплименты.

* * *

Этим ограничивается моя слава — «улицей», — а начальство не признает. Все, как полагается в таких случаях.

* * *

Я часто думаю о том, что люди, ищущие и стремящиеся к славе, не понимают, что в так называемой славе гнездится то самое одиночество, которого не знает любая уборщица в театре. Это происходит оттого, что человека, пользующегося известностью, считают счастливым, удовлетворенным, а в

действительности все наоборот. Любовь зрителя несет в себе какую-то жестокость… Однажды после спектакля, когда меня заставили играть «по требованию публики» очень больную, я раз и навсегда возненавидела свою славу.

* * *

Многие получают награды не по способности, а по потребности. Когда у попрыгуньи болят ноги — она прыгает сидя.

* * *

Успех — единственный непростительный грех по отношению к своему близкому.

* * *

Как-то Раневская поскользнулась на улице и упала. Навстречу ей шел какой-то незнакомый мужчина.

— Поднимите меня! — попросила Раневская. — Народные артистки на дороге не валяются…

* * *

Спутник славы — одиночество.

Я давно ждала момента, когда органы оценят меня по достоинству

Она была любима и вождями, и публикой, и критикой. Рузвельт отзывался о ней как о самой выдающейся актрисе XX века. А Сталин говорил: «Вот товарищ Жаров — хороший актер: понаклеит усики, бакенбарды или нацепит бороду. Все равно сразу видно, что это Жаров. А вот Раневская ничего не наклеивает — и все равно всегда разная». Этот отзыв ей пересказал Сергей Эйзенштейн, для чего разбудил ее ночью, вернувшись с одного из просмотров у Сталина. После звонка Раневской надо было разделить с кем-то свои чувства, и она надела поверх рубашки пальто и пошла во двор — будить дворника, с которым они и распили на радостях бутылочку.

* * *

— Знаете, — вспоминала через полвека Раневская, — когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.

* * *

— Фаина Георгиевна, вы видели памятник Марксу? — спросил кто-то у Раневской.

— Вы имеете в виду этот холодильник с бородой, что поставили напротив Большого театра? — уточнила Раневская.

* * *

Фаине Георгиевне уже присвоили звание народной артистки СССР, когда ею заинтересовался Комитет государственной безопасности и лично начальник контрразведки всего Советского Союза генерал-лейтенант Олег Грибанов. Будучи человеком чрезвычайно занятым, Грибанов на встречу с Раневской послал молодого опера по фамилии Коршунов. Планировалась, как тогда говорили чекисты, моментальная вербовка в лоб. Коршунов начал вербовочную беседу издалека. И о классовой борьбе на международной арене, и о происках иностранных разведок на

территории СССР. Процитировал пару абзацев из новой хрущевской Программы КПСС, особо давил на то, что нынешнее поколение советских людей должно будет жить при коммунизме, да вот только проклятые наймиты империализма в лице секретных служб иностранных держав пытаются подставить подножку нашему народу. Невзначай напомнил также и о долге каждого советского гражданина, независимо от его профессиональной принадлежности, оказывать посильную помощь в их ратном труде по защите завоеваний социализма.

Вслушиваясь в страстный монолог молодого опера, Раневская прикидывала, как ей элегантней и артистичней уйти от предложения, которое должно было последовать в заключение пламенной речи. Фаина Георгиевна закуривает очередную беломорину, хитро прищуривается и спокойнейшим голосом говорит:

— Мне с вами, молодой человек, все понятно… Как, впрочем, и со мной тоже… Сразу, без лишних слов, заявляю: я давно ждала этого момента, когда органы оценят меня по достоинству и предложат сотрудничать! Я лично давно к этому готова — разоблачать происки ненавистных мне империалистических выползней… Можно сказать, что это моя мечта с детства. Но… Есть одно маленькое «но»! Во-первых, я живу в коммунальной квартире, а во-вторых, что важнее, я громко разговариваю во сне. Представьте: вы даете мне секретное задание, и я, будучи человеком обязательным и ответственным, денно и нощно обдумываю, как лучше его выполнить, а мыслительные процессы, как вы, конечно, знаете из психологии, в голове интеллектуалов происходят беспрерывно — и днем и ночью. И вдруг ночью, во сне, я начинаю сама с собой обсуждать способы выполнения вашего задания. Называть фамилии, имена и клички объектов, явки, пароли, время встреч и прочее… А вокруг меня соседи, которые неотступно следят за мной вот уже на протяжении многих лет. Они же у меня под дверью круглосуточно, как сторожевые псы, лежат, чтобы услышать, о чем и с кем это Раневская там по телефону говорит! И что? Я, вместо того чтобы принести свою помощь на алтарь органов госбезопасности, предаю вас! Я пробалтываюсь, потому что громко говорю во сне… Нет-нет, я просто кричу обо всем, что у меня в голове. Я говорю вам о своих недостатках заранее и честно. Ведь между нами, коллегами, не должно быть недомолвок, как вы считаете?

Страстный и сценически искренний монолог Раневской произвел на Коршунова неизгладимое впечатление, с явки он ушел подавленный и напрочь разбитый железными аргументами кандидатки в агенты национальной безопасности. Доложив о

состоявшейся вербовочной беседе Грибанову, он в заключение доклада сказал:

— Баба согласна работать на нас, я это нутром чувствую, Олег Михайлович! Но… Есть объективные сложности, выражающиеся в особенностях ее ночной физиологии.

— Что еще за особенности? — спросил Грибанов. — Мочится в постель, что ли?

— Нет-нет! Громко разговаривает во сне… Да и потом, Олег Михайлович, как-то несолидно получается… Негоже все-таки нашей прославленной народной артистке занимать комнату в коммунальной квартире.

После этой истории Фаина Георгиевна получила-таки отдельную квартиру, но работать на КГБ отказалась. Поклонникам актрисы так и не довелось услышать о Раневской как об агенте национальной безопасности.

* * *

Генсек Брежнев, вручая артистке орден Ленина, внезапно выговорил: «Муля, не нервируй меня!» — знаменитую фразу из фильма «Подкидыш», ставшего знаменитым оттого, что в нем снялась Раневская. Она немедленно парировала: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы».

* * *

Председатель Комитета по телевидению и радиовещанию С. Г. Лапин, известный своими запретительскими привычками, был большим почитателем Раневской. Актриса, не любившая идеологических начальников, довольно холодно выслушивала его восторженные отзывы о своем творчестве.

Однажды Лапин зашел в грим-уборную Раневской после спектакля и принялся восхищаться игрой актрисы. Целуя на прощание ей руку, он спросил:

— В чем я могу Вас еще увидеть, Фаина Георгиевна?

— В гробу, — ответила Раневская.

Цинизм ненавижу за его общедоступность

Я верю в Бога, который есть в каждом человеке. Когда я совершаю хороший поступок, я думаю, это дело рук Божьих.

* * *

Я не верю в духов, но боюсь их.

* * *

Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты.

* * *

Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание: не могу стоять, когда мужчины сидят.

* * *

Запомни на всю жизнь — надо быть такой гордой, чтобы быть выше самолюбия.

Я говорила долго и неубедительно, как будто говорила о дружбе народов.

* * *

В Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, открылась выставка «Шедевры Дрезденской галереи». Возле «Сикстинской мадонны» Рафаэля стояло много людей — смотрели, о чем-то говорили… И неожиданно громко, как бы рассекая толпу, чей-то голос возмутился:

— Нет, я вот одного не могу понять… Стоят вокруг, полно народу. А что толпятся?… Ну что в ней особенного?! Босиком, растрепанная…

— Молодой человек, — прервала монолог Ф. Г. Раневская, — эта дама так долго пленяла лучшие умы человечества, что она вполне может выбирать сама, кому ей нравиться, а кому нет.

* * *

Если бы я часто смотрела в глаза Джоконде, я бы сошла с ума: она обо мне знает все, а я о ней ничего.

* * *

Ну и лица мне попадаются — не лица, а личное оскорбление!

* * *

Пусть это будет маленькая сплетня, которая должна исчезнуть между нами.

* * *

На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый — не может.

* * *

Еврей ест курицу, когда он болен или когда курица больна.

* * *

Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне, что и глаза.

* * *

Оптимизм — это недостаток информации.

* * *

Погода ваша меня огорчила, у нашей планеты явный климакс, поскольку планета — дама!

* * *

Я ненавижу зиму, как Гитлера!

* * *

Какой печальный город (Ленинград). Невыносимо красивый и такой печальный с тяжелоболезнетворным климатом.

* * *

Журналист интересуется:
— Кем была ваша мать до ее замужества?
— У меня не было матери до ее замужества.

* * *

Разгадывают кроссворд:
— Падшее существо, пять букв, последняя — мягкий знак?
Раневская, не задумываясь:
— Рубль!

* * *

Актеры на собрании труппы обсуждают товарища, которого обвиняют в гомосексуализме. Звучат выступления:
— Это растление молодежи…
— Это преступление…
— Боже мой, — не выдерживает Раневская, — несчастная страна, где человек не может распоряжаться своей жопой.

* * *

— Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм — это не извращения, — заявляла актриса. — Извращений, собственно, два: хоккей на траве и балет на льду.

* * *

Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль — это когда наоборот.

* * *

— Вот женишься, Алешенька, тогда поймешь, что такое счастье.

— Да.

— Да, но поздно будет.

* * *

Раневская, всю жизнь прожившая одна, говаривала:

— Семья — это очень серьезно, семья человеку заменяет всё. Поэтому, прежде чем завести семью, необходимо как следует подумать, что для вас важнее: всё или семья.

* * *

Фаина Георгиевна вернулась домой бледная как смерть и рассказала, что ехала от театра на такси.

— Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскальзывал прямо перед носом прохожих! Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик!

* * *

Киногруппа, в составе которой находилась Фаина Раневская, с утра выехала за город на натурные съемки. Предстояла большая работа, нужно было много успеть за день. У Раневской же, как назло, случилось расстройство желудка. По приезде на площадку она сразу направилась к выстроенному на краю поля дощатому сооружению. Аппаратура давно установлена, группа готова к съемкам, а артистки нет и нет. Режиссер нервничает, глядит на часы, оператор сучит ногами. Актриса не появляется. Орут, думая, что с ней что-то случилось. Она отзывается, кричит, что с

ней все в порядке. Наконец после долгого ожидания дверь открывается, и Раневская, подходя к группе, говорит:

— Братцы вы мои! Знали бы вы, сколько в человеке дерьма!

* * *

Раневская, как и очень многие женщины, абсолютно не разбиралась в физике, и однажды она вдруг заинтересовалась, почему железные корабли не тонут.

— Как же это так? — допытывалась она у одной своей знакомой, инженера по профессии. — Железо ведь тяжелее воды, отчего же тогда корабли из железа не тонут?

— Тут все очень просто, — ответила та. — Вы ведь учили физику в школе?

— Не помню.

— Ну, хорошо, был в древности такой ученый по имени Архимед. Он открыл закон, по которому на тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной воды…

— Не понимаю, — развела руками Фаина Георгиевна.

— Ну вот, к примеру, вы садитесь в наполненную до краев ванну, что происходит? Вода вытесняется и льется на пол… Отчего она льется?

— Оттого, что у меня большая ж…! — догадалась Раневская, начиная постигать закон Архимеда.

* * *

От долгой носки юбка у Раневской стала даже просвечиваться. По этому поводу она заметила:

— Напора красоты не может сдержать ничто.

Кто произносит «фено́мен», пусть поцелует меня в задницу

В доме отдыха на прогулке приятельница заявляет:

— Я так обожаю природу.

Раневская останавливается, внимательно осматривает ее и говорит:

— И это после того, что она с тобой сделала?

* * *

Раневская и Марецкая идут по Тверской. Раневская говорит:

— Тот слепой, которому ты подала монету, не притворяется, он действительно не видит.

— Почему ты так решила?

— Он же сказал тебе: «Спасибо, красотка!»

* * *

— А ведь вы, Вано [Вано Ильич Мурадели], не композитор!

— Это почему же я не композитор?

— Да потому, что у вас фамилия такая. Вместо «ми» у вас «му», вместо «ре» — «ра», вместо «до» — «де», вместо «ля» — «ли». Вы же, Вано, в ноты не попадаете!

* * *

Раневская приглашает в гости и предупреждает, что звонок не работает:

— Когда придете, стучите ногами.

— Почему ногами, Фаина Георгиевна?

— Ну вы же не с пустыми руками собираетесь приходить!

* * *

В переполненном автобусе, развозившем артистов после спектакля, раздался неприличный звук. Раневская наклонилась к уху соседа и шепотом, но так, чтобы все слышали, выдала:

— Чувствуете, голубчик? У кого-то открылось второе дыхание!

* * *

Идущую по улице Раневскую толкнул какой-то человек, да еще и обругал грязными словами. Фаина Георгиевна сказала ему:

— В силу ряда причин я не могу сейчас ответить вам словами, какие употребляете вы. Но искренне надеюсь, что, когда вы вернетесь домой, ваша мать выскочит из подворотни и как следует вас искусает.

* * *

Раневская со всеми своими домашними и огромным багажом приезжает на вокзал.

— Жалко, что мы не захватили пианино, — говорит Фаина Георгиевна.

— Неостроумно, — замечает кто-то из сопровождавших.

— Действительно неостроумно, — вздыхает Раневская. — Дело в том, что на пианино я оставила все билеты.

* * *

Находясь уже в преклонном возрасте, Раневская, тем не менее, умела заставить людей подчиняться и выполнять ее требования. Однажды перед Московской олимпиадой Раневская набрала номер директора театра и официальным тоном сообщила, что ей срочно нужна машина. Директор попробовал отказать, сославшись на то, что машина занята, но Раневская сурово перебила:

— Вы что же, не понимаете? Я должна объехать Москву и показать мальчику олимпийские объекты. Он хочет убедиться, что все в порядке…

Директор вынужден был отправить машину Раневской, хоть и не знал, какой такой еще мальчик желает проверить готовность объектов. А Мальчик — была кличка любимой собачки Фаины Георгиевны.

* * *

Как-то Фаина Раневская записала для радио длинное и подробное интервью о своей жизни, о работе в театре, о ролях в кино. Интервью это одобрили, и оно должно было пойти в эфир, но накануне передачи к ней приехала корреспондентка и попросила переписать одно место, где Раневская якобы неправильно произносит слово «феномен».

— Я справилась в словаре современного русского языка, — сказала корреспондентка. — Так вот, по-современному произносить это слово нужно с ударением на «о» — фено́мен! А вы произнесли «феноме́н».

Раневская поначалу заспорила, но потом согласилась и отправилась на студию переписывать этот кусок интервью. Однако, по всей видимости, по дороге одумалась, так что когда села к микрофону, то резко и твердо сказала:

— Феноме́н, феноме́н и еще раз феноме́н! А кто произносит фено́мен, пусть поцелует меня в задницу!

* * *

Меня пригласила к себе образованнейшая, утонченнейшая женщина XIX века Щепкина-Куперник. Я благоговела перед нею, согласно кивала, когда она завела речь о Чехове, о его горестной судьбе и ялтинском одиночестве, когда супруге все недосуг было приехать. После третьей рюмки я почувствовала себя достаточно раскрепощенно:

— Татьяна Львовна, а ведь Ольга Леонардовна Книппер-Чехова — блядь.

И обмерла от ужаса: сейчас мне откажут от дома!

Но изысканная Татьяна Львовна всплеснула ручками и очень буднично, со знанием дела воскликнула:

— Блядь, душенька, блядь!..

* * *

Раневская после спектакля сидела в своей гримерке совершенно голая и курила сигару. В этот момент дверь распахнулась и на пороге застыл один из изумленных работников театра. Актриса не смутилась и произнесла своим знаменитым баском:

— Дорогой мой, вас не шокирует, что я курю?

* * *

Фаина Георгиевна ехала в лифте с артистом Геннадием Бортниковым, а лифт застрял… Ждать пришлось долго — только минут через сорок их освободили. Молодому Бортникову Раневская сказала, выходя:

— Ну вот, Геночка, теперь вы обязаны на мне жениться! Иначе вы меня скомпрометируете!

* * *

Раневскую остановил в Доме актера один поэт, занимающий руководящий пост в Союзе писателей:

— Здравствуйте, Фаина Георгиевна! Как ваши дела?

— Очень хорошо, что вы спросили. Хоть кому-то интересно, как я живу! Давайте отойдем в сторонку, и я вам с удовольствием обо всем расскажу.

— Нет-нет, извините, но я спешу. Мне, знаете ли, надо еще на заседание…

— Но вам же интересно, как я живу! Что же вы сразу убегаете, вы послушаете. Тем более что я вас задержу не надолго: минут сорок, не больше.

Руководящий поэт начал спасаться бегством.

— Зачем же тогда спрашивать, как я живу?! — кричала ему вслед Раневская.

* * *

Однажды на съемках ее постоянный гример то ли заболел, то ли просто не пришел — так или иначе, на месте его не оказалось. После солидного скандала, на кои, говорят, она была не меньший мастер, чем на все остальное, Раневская согласилась на замену: робкую, скромную, только что после института молоденькую девушку. Та и так была в полуобмороке от сознания того, с кем ей предстоит работать, а этот скандал ее доконал окончательно. Очевидно, желая подбодрить новенькую, Раневская решила поговорить с ней о жизни. «Замужем?» — спросила она. «Нет…» — робко пискнула девушка. «Хорошо! — одобрила Фаина Георгиевна. — Вот помню, когда в Одессе меня лишали невинности, я орала так, что сбежались городовые!»

* * *

Раневская постоянно опаздывала на репетиции. Завадскому это надоело, и он попросил актеров о том, чтобы, если Раневская еще раз опоздает, просто ее не замечать.

Вбегает, запыхавшись, на репетицию Фаина Георгиевна:

— Здравствуйте! Все молчат.

— Здравствуйте! Никто не обращает внимания. Она в третий раз:

— Здравствуйте! Опять та же реакция.

— Ах, нет никого?! Тогда пойду поссу.

* * *

А. Щеглову:

> Драстуйте дарагой дядичька. Вам пишит ваша плимяница из города Краснокурьева. Наш город Краснокурьев славитца своими курями. Куры у нас белыя и чорныя, и серинькия а почему наш горад называеца Краснокурьев я не знаю. Я учусь в первам класи и щитаюсь первай учиницай патаму что другие рибята пишат ище хужи миня. Дарагой дядичка пожалуста пришлите мне к новому году много подарков за то что я так харашо пишу без адной ашипки. А сичас дядичка я Вам посылаю шикалатку патаму что вы дядичка такой сукин сын что кроми шикалатки ничего не жрете. Дядичка у миня спортился корондашык и сафсем ни пишит а патаму я вас очинь кребко абнимаю и цулую. Ваша плимяница.
>
> Дуся Пузикова

У них были разные вкусы: она любила мужчин, а он — женщин

Союз глупого мужчины с глупой женщиной порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт.

* * *

Если женщина идет с гордо поднятой головой — у нее есть любовник! Если женщина идет с опущенной головой — у нее есть любовник! Если женщина держит голову прямо — у нее есть любовник! И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!

* * *

Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, то она предполагает, что второго такого дурака она не найдет.

* * *

Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и — глупыми, чтобы они могли любить мужчин.

* * *

Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только оттого, что у мужчины красивые ноги?

* * *

— Какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности — брюнетки или блондинки?

— Седые.

* * *

Настоящий мужчина — это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, — это ее муж.

* * *

Молодая актриса как-то спросила у Раневской:

— Фаина Георгиевна, как вы думаете, почему у мужчин красивая женщина пользуется большим успехом, чем умная?

— Деточка, это же так просто! Слепых мужчин на свете не слишком много, а глупых — хоть пруд пруди…

* * *

— Почему женщины так много времени и средств уделяют внешнему виду, а не развитию интеллекта?

— Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем глупых.

* * *

Много я получала приглашений на свидания. Первое, в ранней молодости, было неудачным. Гимназист поразил меня фуражкой, где над козырьком был великолепный герб гимназии, а тулья по бокам была опущена и лежала на ушах. Это великолепие сводило меня с ума. Придя на свидание, я застала на указанном месте девочку, которая попросила меня удалиться, так как я уселась на скамью, где у нее свидание. Вскоре появился и герой, нисколько не смутившийся при виде нас обеих. Герой сел между нами и стал насвистывать. А соперница требовала, чтобы я немедленно удалилась. На что я резонно отвечала: «На этом месте мне назначено свидание, и я никуда не уйду». Соперница заявила, что не сдвинется с места. Я сделала такое же заявление. Каждая из нас долго отстаивала свои права. Потом герой и соперница пошептались. После чего соперница подняла с земли несколько увесистых камней и стала в меня их кидать. Я

заплакала и покинула поле боя… О моем первом свидании я рассказала Маршаку, он смеялся: ему понравилось то, что, вернувшись все-таки на поле боя, я сказала: «Вот увидите, вас накажет Бог!» И ушла, полная достоинства.

* * *

Больше всего в жизни я любила влюбляться.

* * *

Раневская выступала на одном из литературно-театральных вечеров, где одна из молодых девушек спросила:

— Фаина Георгиевна, что такое любовь? Немного подумав, Раневская ответила:

— Забыла. И тут же добавила:

— Но помню, что это что-то очень приятное.

* * *

— Удивительно, — сказала как-то Раневская, — когда мне было двадцать лет, я думала только о любви, а теперь люблю только думать.

* * *

Однажды я забыла люстру в троллейбусе. Новую, только что купленную. Загляделась на кого-то и так отчаянно кокетничала, что вышла через заднюю дверь без люстры: на одной руке сумочка, другая была занята воздушными поцелуями…

* * *

Раневскую спросили, была ли она когда-нибудь влюблена.

— А как же, — сказала Раневская, — вот было мне девятнадцать лет, поступила я в провинциальную труппу — сразу же и влюбилась. В первого героя-любовника! Уж такой красавец был! А я-то, правду сказать, страшна была, как смертный грех… Но очень любила ходить вокруг, глаза на него таращила, он, конечно, ноль внимания… А однажды вдруг подходит и говорит

шикарным своим баритоном: «Деточка, вы ведь возле театра комнату снимаете? Так ждите сегодня вечером: буду к вам в семь часов».

Я побежала к антрепренеру, денег в счет жалованья взяла, вина накупила, еды всякой, оделась, накрасилась — жду сижу. В семь нету, в восемь нету, в девятом часу приходит… Пьяный и с бабой! «Деточка, — говорит, — погуляйте где-нибудь пару часиков, дорогая моя!»

С тех пор не то что влюбляться — смотреть на них не могу: гады и мерзавцы!

* * *

Толстой сказал, что смерти нет, а есть любовь и память сердца. Память сердца так мучительна, лучше бы ее не было… Лучше бы память навсегда убить.

* * *

Одна из хороших знакомых Фаины Георгиевны постоянно переживала драмы из-за своих любовных отношений с сослуживцем, которого звали Симой. Периодически он ее бросал, она регулярно обливалась слезами после очередной ссоры, время от времени делала от него аборты. Благодаря Раневской к молодой женщине приклеилось прозвище: Жертва Хера Симы.

* * *

У меня был любовник гусар-кавалерист. Когда мы остались вдвоем, я уже лежу, он разделся, подошел ко мне, и я вскрикнула:

— Ой, какой огромный!

А он довольно улыбнулся и, покачав в воздухе своим достоинством, гордо сказал:

— Овсом кормлю!

* * *

— У меня будет счастливый день, когда вы станете импотентом, — в сердцах сказала Раневская чересчур назойливому ухажеру.

Раневскую спросили, не знает ли она причины развода ее приятелей. Фаина Георгиевна, не задумываясь, сказала:

— У них были разные вкусы: она любила мужчин, а он — женщин.

* * *

— Вы не поверите, Фаина Георгиевна, но меня еще не целовал никто, кроме жениха.

— Это вы хвастаете, милочка, или жалуетесь?

* * *

Зашел как-то разговор о мужчине и женщине, находящихся в любовной связи.

— То есть вы хотите сказать, Фаина Георгиевна, что они живут как муж и жена? — пытается выяснить все подробности любопытная собеседница.

— Нет, гораздо лучше, — отвечает Раневская.

* * *

— Дорогая, сегодня я спала с незакрытой дверью. А если бы кто-то вошел? — жалуется Раневской приятельница пенсионного возраста.

— Ну, сколько можно обольщаться! — не замедлила ответить Фаина Георгиевна.

* * *

Как известно, актриса Александра Яблочкина до самой старости оставалась девицей.

При случае она у Раневской попыталась выяснить подробности самого любовного процесса, какие ощущения при этом испытывает женщина. После детального рассказа Яблочкина изрекла сакраментальную фразу:

— Боже! И это все без наркоза!

* * *

Находясь на гастролях, группа артистов от нечего делать отправилась днем в зоопарк. Среди них была и Раневская. И вот в одной из клеток пред ними предстал удивительного вида олень, на голове у которого вместо двух рогов выросло целых четыре.

— Какое странное животное! Что за фокус? — удивился кто-то.

— Я думаю, что это просто вдовец, который имел неосторожность снова жениться, — предположила Фаина Георгиевна.

* * *

Как-то Фаина Георгиевна рассказывала, что в доме отдыха, где ей довелось недавно побывать, объявили конкурс на самый короткий рассказ. Тема — любовь. Но есть четыре условия.

Во-первых, в рассказе должна быть упомянута королева.

Во-вторых, упомянут Бог.

В-третьих, чтобы было немного секса.

В-четвертых, присутствовала тайна.

Первую премию получил рассказ, состоявший из одной фразы:

— О Боже! — воскликнула королева. — Я, кажется, беременна, и неизвестно от кого!

* * *

Раневская возвращается домой с гастролей, кроме нее в купе еще три женщины. Они между собой ведут разговор о минувшем отдыхе.

Одна говорит:

— Вернусь домой и во всем признаюсь мужу. Вторая восхищается:

— Ну, ты и смелая! Третья осуждает:

— Ну, ты и глупая!

— Ну, у тебя и память! — не преминула бросить свою реплику актриса.

* * *

Еще в 60-е годы Раневская рассказала историю, которая моментально стала популярным анекдотом. Поехала она с

несколькими артистами театра по путевке на Черное море. А муж одной из них достал путевку в соседний санаторий.

И вот муж пришел навестить свою жену. Прогуливаются они по аллее, и все встречающиеся мужчины очень вежливо раскланиваются с его женой. Муж заинтересовался:

— Кто это?

— Это члены моего кружка… Затем все пошли провожать мужа до его санатория. Многие женщины раскланиваются с ним.

— А кто это? — спрашивает жена.

— А это кружки моего члена.

* * *

— Фаина Георгиевна, на что похожа женщина, если ее поставить вверх ногами?

— На копилку.

— А мужчина?

— На вешалку.

* * *

Анекдот, авторство которого приписывают Раневской.

Разгадывают кроссворд:

— Женский половой орган из пяти букв?

— По вертикали или по горизонтали?

— По горизонтали.

— Тогда ротик.

* * *

Объясняя, почему презерватив белого цвета, Раневская говорила:

— Потому, что белый цвет полнит.

* * *

Юноша с девушкой сидят на лавочке. Юноша очень стеснительный, а девушке очень хочется, чтобы он ее поцеловал. Тогда она говорит:

— Ой, у меня щека болит. Юноша целует ее в щечку.

— Ну как, теперь болит?

— Нет, не болит. Через некоторое время опять:

— Ой, у меня шейка болит! Юноша целует ее в шейку.

— Ну как, болит?

— Нет, не болит.

Сидевшая рядом Раневская поинтересовалась у юноши:

— Молодой человек, вы от геморроя не лечите?

* * *

— Сколько раз в жизни краснеет женщина?

— Четыре: в первую брачную ночь, когда в первый раз изменяет, когда в первый раз берет деньги, когда в первый раз дает деньги.

— А мужчина?

— Два раза: первый раз — когда не может второй, второй — когда не может первый.

Я себя чувствую, но плохо

Здоровье — это когда у вас каждый день болит в другом месте.

* * *

Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье.

* * *

Ночью болит все, а больше всего совесть.

* * *

Нет болезни мучительнее тоски.

* * *

Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.

* * *

Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.

* * *

— Вы заболели, Фаина Георгиевна?
— Нет, я просто так выгляжу.

* * *

На вопрос одного из актеров, справлявшихся по телефону у Раневской о ее здоровье, она отвечает:

— Дорогой мой, такой кошмар! Голова болит, зубы ни к черту, сердце жмет, кашляю ужасно, печень, почки, желудок —

все ноет! Суставы ломит, еле хожу… Слава богу, что я не мужчина, а то была бы еще импотенция!

* * *

Медсестра, лечившая Раневскую, рассказала, как однажды Фаина Георгиевна принесла на анализ мочу в термосе. Сестра удивилась, почему именно в термосе, надо было в баночке. На что великая актриса возмущенно пробасила: «Ох, ни хрена себе! А кто вчера сказал: неси прямо с утра, теплую?!»

* * *

Была сегодня у врача «ухо-горло-жопа».

* * *

Прихожу в поликлинику и жалуюсь:

— Доктор, у меня что-то в последнее время вкуса нет.

Тот обращается к медсестре:

— Дайте Фаине Георгиевне семнадцатую пробирку.

Я попробовала.

— Это же говно.

— Всё в порядке. Вкус появился.

Проходит несколько дней, я опять появляюсь в кабинете этого врача:

— Доктор, вкус-то появился, но с памятью всё хуже и хуже.

Доктор обращается к медсестре:

— Дайте Фаине Георгиевне пробирку номер семнадцать.

— Там же говно, — ору я.

— Всё в порядке. Вот и память вернулась.

* * *

Фаина Георгиевна много курила, и, когда известный художник-карикатурист Иосиф Игин пришел к ней, чтобы нарисовать ее, она так и вышла — погруженной в клубы дыма на темном фоне. Врачи удивлялись ее легким:

— Чем же вы дышите?

— Пушкиным, — отвечала она.

* * *

А. А. Ахматовой:

Спасибо, дорогая, за Вашу заботу и внимание и за поздравление, которое пришло на третий день после операции, точно в день моего рождения, в понедельник.

Несмотря на то что я нахожусь в лучшей больнице Союза, я все же побывала в дантовом аду, подробности которого давно известны.

Вот что значит операция в мои годы со слабым сердцем. На вторые сутки было совсем плохо, и вероятнее всего, что если бы я была в другой больнице, то уже не могла бы диктовать это письмо.

Опухоль мне удалили, профессор Очкин предполагает, что она была незлокачественной, но сейчас она находится на исследовании. В ночь перед операцией у меня долго сидел Качалов В. И., и мы говорили о Вас.

Я очень терзаюсь кашлем, вызванным наркозом. Глубоко кашлять с разрезанным животом непередаваемая пытка. Передайте привет моим подругам.

У меня больше нет сил диктовать, дайте им прочитать мое письмо. Сестра, которая пишет под мою диктовку, очень хорошо за мной ухаживает, помогает мне. Я просила Таню Тэсс Вам дать знать о результате операции. Обнимаю Вас крепко и благодарю.

В. И. Качалов Ф. Г. Раневской:

Грустно стало за Вас, что такое безрадостное и тяжелое для Вас выпало лето, не давшее Вам ни отдыха, ни утешения…

Не падайте духом, Фаина, не теряйте веры в свои большие силы, в свои прекраснейшие качества, берегите свое здоровье. Больше всего думается, именно теперь, в эту Вашу неудачную, несчастливую полосу жизни, больше всего думается о здоровье.

Только о своем здоровье и думайте. Больше ни о чем пока! Все остальное приложится, раз будет здоровье, право же, это не пошляческая сентенция. Ваша «сила» внутри Вас, Ваше «счастье» в Вас самой и Вашем таланте,

который, конечно, победит, не может не победить всякое сопротивление внешних фактов, пробьется через всяческое сопротивление, через всякое «невезение» и всякие «незадачи» очных ставок с подкидышами через головы Судаковых и Поповых, назло всем старухам зловещим Малого театра. Только нужно, чтобы Вы были здоровы и крепки, терпеливы и уверены в себе. Главное, здоровье.

Крепко Вас обнимаю.

Ваш В. Качалов.

В. И. Качалов Ф. Г. Раневской:

Кланяюсь страданию твоему. Верю, что страдание твое послужит тебе к украшению, и ты вернешься из Кремлевки крепкая, поздоровевшая, и еще ярче засверкает твой прекрасный талант.

Я рад, что эта наша встреча сблизила нас, и еще крепче ощутил, как нежно я люблю тебя.

Целую тебя, моя дорогая Фаина.

Твой ЧТЕЦ-ДЕКЛАМАТОР.

Друга любить — себя не щадить. Я была такой

Не наблюдаю в моей дворняге тупости, которой угнетают меня друзья-неандертальцы. А где теперь взять других?

* * *

Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь своим посещением, и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести. У них у всех друзья такие же, как они сами: контактны, дружат на почве покупок, почти живут в комиссионных лавках, ходят друг к другу в гости. Как я завидую им — безмозглым!

* * *

Ф. Г. сдружилась с Еленой Сергеевной уже после смерти Булгакова и помогала, как могла. Ведь ничего не издавалось, ничего не ставилось. Однажды вдова сказала:

— Фаина, я вам верю. Клянусь, как только вы скажете, что пора оставить косметику, я немедленно подчинюсь.

— Не помню, Глеб (Глеб Скороходов), какая вожжа мне попала под хвост, но как-то я позвонила Елене Сергеевне и произнесла одно зловещее слово: «Пора!» Очевидно, в свои сорок с гаком я в очередной раз решила: любви ждать нечего, жизнь кончилась, и надо перестать ее раскрашивать.

Булгакова встретила мое решение без прежнего энтузиазма:

— Наверное, вы правы. Но можно отложить принятие обета до новогоднего карнавала?

Устроила она это действо у себя в квартире. Не такие просторы, как на воландовском балу, но Маргарита всегда умела устроить из комнаток праздничные залы. «Вход без маскарадных костюмов строго воспрещен!» — это она объявила заранее. Я, правда, пришла в обычном платье, но мне тут же выдали накидку со звездами а-ля Метерлинк, напялили на голову шляпу-гнездо, в котором сидела птица с хищным клювом. Поначалу я не находила себе места, танцевать не хотелось, интриговать тоже. Профессор Дорлиак что-то обсуждала с подругой, тоже в домино. Сережка Булгаков в наполеоновской треуголке болтал что-то ужасно

глупое. Стало жутко, когда в квартиру вползли опоздавшие Славы — Рихтер и Ростропович. Медленно вползли в костюмах крокодилов — отличные им сделали в театре Образцова: с зеленой пупырчатой кожей, с когтистыми лапами. Дамы визжали и поднимали ноги, профессор Дорлиак норовила залезть на стол.

* * *

Перед полуночью появилась актриса, всю жизнь играющая старух. Этому секрету разгадки нет — вы смеялись, едва увидя ее. Она пришла в невообразимом костюме под названием «Урожай»: колосья торчат из венка во все стороны, платье увешано баранками разного калибра и цвета. Баранки-бусы на шее, баранки-серьги в ушах и даже одна баранка в носу…

— Я только что с сельскохозяйственной выставки. Первое место во всесоюзном конкурсе мое!

Я подумала: «Пельтцер — гениальна!» А это, конечно, была она — другой такой старухи у нас нет. Тогда еще не отменили хлебные карточки, и Таню хотелось тут же начать обкусывать. Насмеялись мы на целый год не случайно: страшнее наступающего 1946 года я не припомню.

* * *

С Любовью Орловой они были, можно сказать, приятельницами, но и в ее адрес Раневская позволяла себе шуточки. От безобидной: «Шкаф Любови Петровны так забит нарядами, что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать», — до колкого передразнивания: «Ну что, в самом деле, Чаплин, Чаплин… Какой раз хочу посмотреть, во что одета его жена, а она опять в своем беременном платье! Поездка прошла совершенно впустую».

* * *

Фаина Раневская и Варвара Сошальская были заняты в спектакле «Правда хорошо, а счастье лучше». Раневской уже было за восемьдесят, а Сошальской к восьмидесяти.

Однажды на репетиции Сошальская плохо себя почувствовала: в ночь перед репетицией не спала, подскочило давление… В общем, все ужасно. Раневская пошла в буфет, чтобы

купить ей шоколадку или что-нибудь сладкое, дабы поднять подруге настроение. В буфете продавались здоровенные парниковые огурцы, в ту пору впервые среди зимы появившиеся в Москве.

Фаина Георгиевна немедленно купила огурец невообразимых размеров, положила в карман передника — она играла служанку — и отправилась на сцену. В тот момент, когда нужно было подать что-то барыне Сошальской, Раневская вытащила из кармана огурец:

— Вавочка, посмотри, какой огурчик я тебе принесла…

— Спасибо тебе, Фуфочка! — обрадовалась Сошальская.

Уходя со сцены, Раневская очень хитро подмигнула и уточнила:

— Вавочка, я дарю тебе этот огурчик. Хочешь — ешь его, хочешь — живи с ним…

Пришлось режиссеру объявить перерыв, поскольку после этой фразы присутствующие просто полегли от хохота и репетировать уже никто не мог…

* * *

К соседу, Риме Кармену, не пойду. К Галине Сергеевне (Улановой) можно, но вдруг ей из-за меня придется менять планы? Вот, пожалуй, к кому можно смело идти, так это к Лиде Смирновой. Мне будет рада искренне, без притворства. Когда мы с ней снимались в михалковском дерьме «У них есть Родина», мы так дружно страдали по своим возлюбленным — слезы лились в четыре ручья!

* * *

Е. С. Булгаковой:

> Спасибо, дорогая моя Елена Сергеевна, за письмо. Мне понятно Ваше предотъездное трепыхание, пейте валерьянку и напевайте «Три богини спорить стали…». Это проверено, очень помогает. Подумайте только покойно: «Впереди Париж!»
>
> Дорогая, я получила сегодня письмо из Парижа от одной чудесной старой дамы — подруги моей сестры, — русской, замужем за французом-профессором. Белла обожала эту свою подругу. Представьте, живя пятьдесят

лет в Париже, эта Мария Васильевна не научилась говорить по-французски! Имея в мужьях француза! Прелесть!

Если у Вас будет свободная минута, не откажите попросить Вашу родственницу посмотреть в телефонной книге профессора Pier De Vambez.

Вот обрадуете, если скажете, что были дружны с Беллой.

А профессор покажет Вам всякие прелести.

Будьте благополучны.

Господь с Вами!

* * *

В. А. Герасимовой:

Милая, милая Валерия Анатольевна!

Если бы Вы могли хоть на минуту представить себе, как я терзалась тем, что по сей день не могла Вам написать. На следующий же день после нашей встречи возникли все препятствия, болезни домашних, репетиции, киносъемки и еще много всякого противного. К тому же я сама говорю: «Воспаление во всем теле».

«Хитрые глаза» и «Третье сословие» я прочитала в ту же ночь, как получила Вашу книгу. Обе эти вещи очень меня растревожили, не подберу другого слова. Страшновато и великолепно, и такая правда во всем.

Пьесу же из «Хитрых глаз», по-моему, сделать трудно, а может быть, и нельзя. Об этом подробно я скажу, когда мы встретимся. Я еще и еще раз убедилась в том, какая Вы умная, талантливая и честная… Все, о ком Вы говорите, мои хорошие знакомые. Я должна из-за нездоровья дня три пробыть дома. Это даст мне возможность прочесть всю книгу. От Вас самой, а потому и от Вашей книги за версту несет благородством. Простите некрасивое выражение. Влияние Ваше как писателя на меня огромно — я никогда не буду пользоваться цитатами. Все же мне непреодолимо хочется в последний раз (клянусь) процитировать обожаемого Герцена: «Частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям». Когда я о Вас думаю, мне неизменно вспоминаются эти его слова. Еще раз благодарю за Вашу книгу, которая мне сейчас

нужнее других.

Я очень рада, что познакомилась с Вами, — спасибо, что пришли. Пожалуйста, будьте благополучны. Крепко жму Вашу руку. Душевно Ваша Раневская.

Я плохо училась в гимназии, писала с ошибками. И сейчас боюсь, что Вы найдете орфографические ошибки. А ведь это позор как клоп на манишке.

Обнимаю, Ф. Р.

* * *

С. М. Михоэлсу:

Дорогой, любимый Соломон Михайлович!

Очень огорчает Ваше нездоровье. Всем сердцем хочу, чтобы Вы скорее оправились от болезни, мне знакомой.

Тяжело бывает, когда приходится беспокоить такого занятого человека, как Вы, но Ваше великодушие и человечность побуждают в подобных случаях обращаться именно к Вам.

Текст обращения, данный Я. Л. Леонтьевым, отдала Вашему секретарю, но я не уверена, что это именно тот текст, который нужен, чтобы пронять бездушного и малокультурного адресата!

Хочется, чтобы такая достойная женщина, как Елена Сергеевна, не испытывала лишнего унижения в виде отказа в получении того, что имеют вдовы писателей меньшего масштаба, чем Булгаков.

Может быть, Вы найдете нужным перередактировать текст обращения. Нужна подпись. Ваша, Маршака, Толстого, Москвина, Качалова.

Мечтаю о дне, когда смогу Вас увидеть, услышать, хотя и боюсь Вам докучать моей любовью. Обнимаю Вас и милую Анастасию Павловну.

Душевно Ваша Раневская.

* * *

А. Д. Попову:

Спасибо, всегда дорогой моему сердцу, милый Алексей Дмитриевич! Мне безгранично дорого Ваше внимание. Дорого, как подарок. Я очень чту Вас, очень

боюсь и очень люблю Вас, как самого взыскательного художника наших дней, очень трудных дней театра. Трудных потому, что театр стал «торговой точкой». Я нестерпимо от этого страдаю… Обнимаю Вас крепко, еще и еще благодарю за память. Сердечно приветствую Вашу семью. Какой изумительный артист Андрей!

* * *

А. П. Потоцкой:

Дорогая Анастасия Павловна!

Мне захотелось отдать Вам то, что я записала и что собиралась сказать в ВТО на вечере в связи с 75-летием Соломона Михайловича.

Волнение и глупая застенчивость помешали мне выступить. И сейчас мне очень жаль, что я не сказала, хотя и без меня было сказано о Соломоне Михайловиче много нужного и хорошего для тех, кому не выпало счастья видеть его и слушать его.

В театре, который теперь носит имя Маяковского, мне довелось играть роль в пьесе Файко «Капитан Костров», роль, которую, как я теперь вспоминаю, я играла без особого удовольствия, но когда мне сказали, что в театре Соломон Михайлович, я похолодела от страха, я все перезабыла, я думала только о том, что Великий Мастер, актер-мыслитель, наша совесть — Соломон Михайлович смотрит на меня.

Придя домой, я вспомнила с отчаянием, с тоской все сцены, где я особенно плохо играла.

В два часа ночи зазвонил телефон. Соломон Михайлович извинился за поздний звонок и сказал: «Вы ведь все равно не спите и, наверное, мучаетесь недовольством собой, а я мучаюсь из-за Вас. Перестаньте терзать себя, Вы совсем неплохо играли, поверьте мне, дорогая, совсем неплохо. Ложитесь спать, спите спокойно — совсем неплохо играли».

А я подумала, какое это имеет значение — продлила я роль или нет, если рядом добрый друг, человек — Михоэлс.

Я перебираю в памяти всех людей театра, с которыми сталкивала меня жизнь, — нет, никто так больше и никогда так не поступал.

Его скромная жизнь с одним непрерывно гудящим лифтом за стеной.

Он сказал мне: «Знаете, я получил письмо с угрозой меня убить». Герцен говорил, что частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям. Когда я думаю о Соломоне Михайловиче, мне неизменно приходит на ум это точное определение, которое можно отнести к любому художнику. Его жилище — одна комната без солнца, за стеной гудит лифт и денно и нощно.

Я спросила Соломона Михайловича, не мешает ли ему гудящий лифт. Смысл его ответа был в том, что это самое меньшее зло в жизни человека.

Я навестила его, когда он вернулся из Америки. Он был нездоров, лежал в постели, рассказывал о прочитанных документах с изложением зверств фашистских чудовищ.

Он был озабочен, печален. Я спросила о Чаплине. «Чаплина в Америке затравили», — сказал Соломон Михайлович. В одном из баров ему, Соломону Михайловичу, предложили выпить коктейль под названием «Чаплин». Коктейль оказался пеной. Даже так мстили Чаплину за его антифашистские выступления.

Я спросила Соломона Михайловича, что он привез из Америки. «Жене привез подопытных мышей для научной работы». А себе? «Себе кепку, в которой уехал в Америку».

* * *

С. М. Эйзенштейну:

Дорогой Сергей Михайлович!

«Убить — убьешь, а лучше не найдешь!» Это реплика Василисы Мелентьевны Грозному в момент, когда он заносил над ней нож!..

Бессердечный мой!..

Дорогой Сергей Михайлович! Ничего не понимаю: получила телеграмму с просьбой приехать на пробу во второй половине мая, ответила согласием, дожидалась вызова — вступаем во вторую половину июня, а вызова все нет и нет!

Может быть, Вы меня отлучили от ложа, стола и

пробы? Будет мне очень это горестно, так как я люблю Вас, Грозного и Ефросинью!

Радуюсь тому, что сценарий Ваш всех восхищает. Жду вестей.

Обнимаю Вас. Раневская.

* * *

Т. Тэсс Ф. Г. Раневской:

Фаиночка, дорогая моя, родной мой человек! Я знаю, что Вы сердитесь на меня, и Вы правы, но, как часто бывает, не зная всех обстоятельств жизни человека, нельзя судить о его поступках. Неужели Вы хоть на минуту подумали, что я не помню Вас, не тревожусь о Вас, не горжусь Вашим успехом, не радуюсь безмерно тому, что странная миссис Сэвидж стала зримой, живой, подаренная Вами людям? Что делать — все, рожденное талантом, забирает у человека его силы, нервы, сердце; странная миссис Сэвидж дорого стоила ее создательнице, и вот Вы в больнице. Я хотела приехать к Вам с Натэллой (Лордкипанидзе), но она сказала мне, что к Вам сейчас никого не пускают, и только у Ниночки (Сухоцкой) постоянный пропуск и она может у Вас бывать. Я звонила Ниночке, но ее не было, а сейчас я на даче, где до ближайшего телефона пятьдесят километров…Такая ночь и у Вас, там, где Вы сейчас. Как-то Вы там, дорогой мой дружок? Когда я Вас увижу? Каждый день я думаю о Вас и мучаюсь, понимая, что если на нашу общую с Борей Ефимовым телеграмму Вы ответили только ему, то, значит, на меня Вы начихали. Ваше письмо, адресованное ему, я держала в своих руках, когда оно лежало на столе в редакции, — и каково мне было, можете представить. А ведь еще недавно мне писали не только Вы, но и наш дорогой Кафинькин со станции Малые Х. Вот как я наказана. И как обычно бывает, чувствуя себя виноватой, я уж не знала, как выпутаться, что сделать, как улучшить свое безнадежно пошатнувшееся положение в Ваших глазах.

Крепко Вас обнимаю и целую, любимый мой друг, дорогая великая актриса.

Всегда Ваша Т. Тэсс

* * *

Т. Тэсс Ф. Г. Раневской:

Моя дорогая, любимая актриса — «актрисуля», как писал Антон Павлович своей Книппер, — спасибо Вам за доброе письмо и за немыслимо смешное сочинение неизвестного завистника. К сожалению, в нынешнем составе малеевских жителей сейчас очень мало людей, кому я могу это прочесть; почти все сами пишут: «Куда, куда летите, гуси?…» — и ничего смешного в этом не видят. Один местный поэт, к примеру, написал в свое время стихи, которые начинались так: «Я в Москве родился, родила меня мать…» В пародии вполне логично добавил: «Тетке некогда было в ту пору рожать». Но в общем это звучит на том же уровне…

…Вы ничего не написали мне о своем здоровье, и не знаю, как Вы. Не знаю я и когда начнутся гастроли в Ленинграде. Погода изменилась, дело клонится к зиме, днем шел снег, ветер злой, как собака. Бегала в Старую Рузу за 6 км, чтобы купить меда, — не сплю никак, говорят, надо есть мед перед сном — и будешь спать как дитя.

Съем полбанки, могу позволить себе, как художник слова, будь что будет.

Поэт Сергей Островский на прогулке сказал:

«Написал сегодня стихи о любви. Во стихи! Тема закрыта, все!»

И лег спокойно спать. И во сне видел: не было до него ни Маяковского, ни Пастернака, ни Ахматовой — не было и не будет после. Тема закрыта, все!

Легко, наверное, таким людям жить на свете.

Читаю здесь «Белую гвардию» — пронзающая душу, жестокая и нежная повесть. Какой удивительный писатель, какой умный, беспощадный и добрый человек! За таким можно на край света пойти, не то что в Сивцев Вражек. Елена Сергеевна (Булгакова) для меня сейчас видится совсем по-другому, словно легла на нее тень и свет Беатриче. Будем живы-здоровы, поведите меня к ней, когда вернусь в Москву.

…Какой закат сейчас — синий, таинственный, рериховский. Буря сломала огромную ель, и она лежит, раскинувшись, как павший в бою гренадер.

Пришел Орлов, зовет гулять.

Целую Вас нежно, великая моя современница.
Ваша Т. Тэсс

* * *

В. Ходасевич Ф. Г. Раневской:

Дорогая моя, любимая, хорошая, уважаемая Фаиночка Георгиевна!

Понимаю, чувствую и сочувствую Вашему горю, родная! Я сама испытала этот ужас беспомощности и бессилия, когда смерть отбирает у тебя самое дорогое и любимое. Как хотелось бы, чтобы все, кто Вас любит, помогли бы Вам пережить случившееся.

Я была несколько дней в городе (живу у Кр-их под Звенигородом), никого не видела и узнала обо всем случайно, развернув старую газету. Не посмела Вам звонить и тем более появиться у Вас, так как не считала, что достаточно Вам близка для этого.

Вот поэтому пишу Вам, вернувшись в Звенигород. На природе все как-то легче и проще, и лучше понимаешь вечный круговорот жизни и смерти, и спокойнее как-то на это смотришь…

Вспоминаю Павлу Леонтьевну. Вспоминаю лето в Жуковке, и Ваш «гаражный» особнячок, и Ваши заботы, и любовь к Павле Леонтьевне. Это было очень красиво!

Все понимаю, но хочу, чтобы скорее Вам стало легче и спокойнее на душе, дорогая!

Я Вас крепко обнимаю и жму Ваши прекрасные руки от всего сердца.

Валентина Ходасевич.

* * *

В. Ходасевич Ф. Г. Раневской:

…Весь этот «бомонд» меня возмущает до крайности. А у Вас нет машины и дачи, и Вы слоняетесь по жизни кое-как. Это же безобразие! Караул!

Целую Вас, родная, нежно и преданно. Поразмыслилась и даже больше писать не могу от злобы!

Скоро напишу приличное письмо.

Приветы и поцелуи.

Вас любящая Валентина Х.
Господь с Вами!

Записки «эрзац-внука»

Раневская не жаловала кинематограф. О киносъемках она говорила: «Представьте, что вы моетесь в бане, а туда пришла экскурсия».

«Это „несчастье“ случилось со мной еще в 30-х годах, — вспоминала Раневская. — Я была в то время актрисой Камерного театра, и мне посчастливилось работать с таким прекрасным режиссером, как Таиров…

Так вот, я собрала все фотографии, на которых была изображена в ролях, сыгранных в периферийных театрах, а их оказалось множество, и отправила на „Мосфильм“.

Мне тогда думалось, что эта „фотогалерея“ может поразить режиссеров моей способностью к перевоплощению, и с нетерпением стала ждать приглашений сниматься. И… была наказана за такую свою нескромность. Один мой приятель, артист Камерного театра С. Гартинский, который в то время снимался в кино, чем вызывал во мне чувство черной зависти, вернул однажды мне снимки, сказав: „Это никому не нужно — так просили вам передать“.

Я подумала: переживу. Но перестала ходить в кино и буквально возненавидела всех кинодеятелей. Однажды на улице ко мне подошел приветливый молодой человек и сказал, что видел меня в спектакле Камерного театра, в „Патетической сонате“, после чего загорелся желанием снимать меня во что бы то ни стало. Я кинулась ему на шею… Этот фильм стал первой самостоятельной работой в то время молодого художника кино Михаила Ромма».

Нина Станиславовна Сухоцкая вспоминала:

«Я приехала отдохнуть дней на десять — двенадцать вместе с Раневской в Абрамцево. Это был, по-моему, 1933 год. Ромм готовился к своей первой самостоятельной постановке — картине „Пышка“ и просил нас принять участие в съемках. Ну, как известно, это осуществилось: я снималась в роли молодой монахини, а Фаина — в роли госпожи Луазо.

Когда ставилась „Пышка“, мы встречались с Роммом почти ежедневно, вернее сказать, еженощно. Дело в том, что он ухитрился пригласить на роли в основном актеров разных театров. Поэтому в одно время всех собрать было просто невозможно. Кончилось тем, что съемки стали ночными.

Происходили они там, где теперь „Мосфильм“. Называлось это место Потылиха…

Работа была тяжелая. Днем репетиция в театре, потом

бежишь домой на полтора-два часа поесть, передохнуть, потом спектакль. И вот после спектакля являлся драндулет, который мы окрестили „черным вороном“, объезжал все театры и собирал актеров на съемку…

Однажды, посмотрев на Галю Сергееву, исполнительницу роли „Пышки“, которая в ту пору была совершенно прелестна, и оценив ее глубокое декольте, Фаина своим дивным басом сказала, к восторгу Ромма: „Эх, не имей сто рублей, а имей двух грудей“…

Настал день, когда все мы оказались на время свободными. Раневская и я, измученные ночными съемками на протяжении восьми месяцев, отправились на Воробьевы горы, где друзья Герцен и Огарев давали историческую клятву.

Мы с Фаиной стали жаловаться друг другу на нашу тяжелую жизнь на Потылихе. Она говорила: „Знаешь, я уже больше не могу, у меня уже нет сил“. И я ей поддакивала: „Да, Фаина, кинематограф — это страшное дело. Это не искусство“.

И мы, взявшись за руки, поклялись друг другу свято, что никогда в жизни в кинематографе сниматься больше не будем».

Едва написали о Ги де Мопассане в служебной характеристике: «Он хороший чиновник, но плохо пишет», как Мопассан бросил службу и стал знаменитым писателем. Так и Раневская: после исторической клятвы она бросила театр и «в хвост и в гриву» снималась в кино.

Раневская вспоминала: «В те годы работать в кино было трудно. „Мосфильм“ плохо отапливался, я не могла привыкнуть к тому, что на съемочной площадке, пока не зажгутся лампы, холодно и сыро, что в ожидании начала съемки необходимо долго томиться, бродить по морозному павильону. К тому же на меня надели вериги в виде платья, сшитого из остатков грубого, жесткого материала, которым была обита карета героев „Пышки“. Много еще оставалось вокруг неуютного, нехорошего, а я привыкла к теплому и чистому помещению театра… В общем, я решила сбежать с картины. По неопытности. Помнится, мы с Михаилом Ильичом смертельно обиделись друг на друга… Кончилось же все это работой, съемками.

А во время съемок я в него влюбилась. Все, что он делал, было талантливо, пленительно. Все в нем подкупало: и чудесный вкус, и тонкое понимание мопассановской новеллы, ее атмосферы. Михаил Ильич помогал мне и как режиссер, и как педагог. Чуткий, доброжелательный, он был любим всеми, кто с ним работал…

Что было потом? Снималась большей частью как бы случайно. Однажды позвонил режиссер и попросил у него сниматься. На мой вопрос, какая роль, он отвечал: „Роли,

собственно, для вас нет. Но очень хочется видеть вас в моем фильме. В сценарии есть поп, но, если вы согласитесь сниматься, могу сделать из него попадью“. Я ответила: „Ну, если вам не жаль вашего попа, можете его превратить в даму. Я согласна“. Этим режиссером был талантливый и милейший человек Игорь Савченко.

Мне вспоминается, как он поставил передо мной клетку с птичками и сказал: „Ну, говорите с ними, импровизируйте“. И я стала обращаться к птичкам словами: „Рыбы мои дорогие, вы все прыгаете, прыгаете, покоя себе не даете“. Потом он меня подвел к закутку, где стояли свиньи: „Ну а теперь побеседуйте со свинками“. А я говорю: „Ну, дети вы мои родные, кушайте на здоровье“. А что мне оставалось делать? Если режиссеры предлагали мне роли, в которых не было текста…»

Это был кинофильм «Дума про казака Голоту» (1937 год).

В 1939 году Фаина Раневская создала в кино незабываемые образы двух жен — жены инспектора в фильме «Человек в футляре» режиссера Анненского и жены портного Гуревича, Иды, в фильме «Ошибка инженера Кочина» режиссера Мачерета по сценарию, написанному им совместно с Олешей.

Потом был кинофильм «Подкидыш». Сценарий Агнии Барто и Рины Зеленой, подруг Раневской, но фразу «Муля, не нервируй меня», обращенную к ее мужу по роли, придумала Фаина Георгиевна, как и еще многое в фильме. Эта картина принесла Раневской широкую популярность, хотя известность «Мули» раздражала ее.

«„Мечта“… Это были счастливые мои дни, — вспоминала Фаина Георгиевна. — За всю долгую жизнь я не испытывала такой радости ни в театре, ни в кино, как в пору нашей второй встречи с Михаилом Ильичом. Такого отношения к актеру — не побоюсь слова „нежного“, такого доброжелательного режиссера-педагога я не знала, не встречала. Его советы, подсказки были точны и необходимы.

Я навсегда сохранила благодарность Михаилу Ильичу за помощь, которую он оказал мне в работе над ролью пани Скороход в „Мечте“, и за радость, когда я увидела этот прекрасный фильм на экране.

К сожалению — я бы могла сказать, даже и к несчастью, — после „Мечты“ наши пути с Михаилом Ильичом в кинематографе разошлись. Но я оставалась верной „Мечте“, воспоминаниям о светлых и захватывающих днях нашей работы, я мечтала о ее продолжении. И мне казалось, что мы действительно встречались с Михаилом Ильичом, вновь становились единомышленниками и соратниками в искусстве всякий раз, когда я видела на экранах

лучшие его кинокартины».

Лето, наша семья снимает дачу в Загорянке под Москвой; картина «Мечта» закончена 15 июня 1941 года. В главных ролях — Фаина Раневская, Елена Кузьмина, Ада Войцик, Михаил Астангов, Михаил Болдуман, Ростислав Плятт и мой отец — Валентин Щеглов. Это был единственный его фильм.

Авторы сценария «Мечты» — Ромм и Габрилович.

Евгений Габрилович вспоминал: «Я не присутствовал на съемках „Мечты“. Увидел в первый раз эту ленту в вечер, когда над Москвой уже гудели немецкие самолеты. Но было это все же в Доме кино, и это был самый странный, дикий и жуткий просмотр в моей жизни.

Странно и то, что в это самое первое время войны картина Ромма имела огромный успех…

Я понимаю, что главная причина успеха — Раневская. Она играла не комедию (как первоначально предполагалось), не драму, а ТРАГИКОМЕДИЮ.

Уже в те давние годы я понял, что возникла ТРАГИКОМИЧЕСКАЯ АКТРИСА, которая была всему тогдашнему не с руки. Ибо из всего ненавистного начальство пуще всего ненавидело ГОРЬКУЮ комедию, а тем более комедию с несчастным концом. А ведь как раз для ЭТОГО и была создана Раневская.

Конечно, в конце концов мы прилатали нашей „Мечте“ подходящий начальству конец. Но это был конец, наскоро сметанный и грубо подшитый. Хотя и старались мы изо всех сил.

В целом же (такова моя убежденность!) Фаина Раневская из-за властей, надзиравших искусство, не сыграла и половины того, что могла бы сыграть».

Как-то один «исследователь» творчества Раневской воскликнул: «Как счастливо сложилась ваша судьба в кино!»

«Что-о?!!» — Раневская сделалась страшной, и больше этого человека на пороге ее дома не было.

И все-таки «Мечту» никто не помнит, почти. Жалко…

Еще о Ромме. Фаина Георгиевна писала: «Ромм… До чего же он талантлив, он всех талантливей. Он очень болен, издерган, сказав, что его в инфаркт давно загнал Никита Сергеевич…

Помнится, как однажды, захворав, я попала в больницу, где находился Михаил Ильич. Увидев его, я глубоко опечалилась, поняла, что он болен серьезно. Был он мрачен. Помню его слова о том, что человек не может жить после увиденного неимоверного количества метров пленки о зверствах фашистов. Он мне сказал тогда: „Дайте слово, что вы не будете смотреть мой фильм „Обыкновенный фашизм“, хотя там нет и тысячной доли того, что

делали эти нечеловеки“.

Вот это его точные слова. И я не видела этот фильм. Я же ему дала слово.

Там же, в больнице, я получала часто от него записки. К сожалению, не все сохранились, так как у меня их брали, чтобы переписать, и, конечно, обратно не возвращали. Но три короткие записки мне оставили. Я отдала их на хранение в ЦГАЛИ. Там, в архиве, эти дорогие мне строчки останутся в сохранности.

Он мне писал: „Фаина, дорогая! Я стал старый и вдобавок глухой на одно ухо. Старею ужасно быстро и даже не стесняюсь этого… Смотрел „Мечту“ и всплакнул. А раньше я просто не умел плакать. Обычно я ругаю свои картины и стесняюсь, стыжусь смотреть, а „Мечту“ смотрел, как глядят в молодости. На свете нет счастливых людей, кроме дураков да еще плутов. Еще бывают счастливые тенора, а я не тенор и Вы тоже…“

И еще, незадолго до его 70-летия:

> „Дорогая Фаина! Вы написали все очень трогательно. Спасибо. Я тоже вас очень люблю, и мне грустно, как и вам. Все правильно.
>
> И все-таки дело было не совсем так, ибо в те годы, в годы „Пышки“, я был (между нами) глуп и самоуверен. Мне казалось, что кино — самое важное, святое дело, и, значит, все должны плясать вокруг кино. Вреда от него больше, чем пользы. А свинства — вагон!
>
> Я еще по привычке колбашусь, а вообще-то мне грустно, очень одиноко, и ничего я не хочу. А будет как раз юбилей. Ну зачем мне юбилей?
>
> Вообще, думается мне, что „Об. фашизм“ — это по всем признакам последняя картина человека, а я не понял своевременно. На пенсию пора. Целую Вас.
>
> Мих. Ромм“.

Очевидно, чтобы позабавить меня, в одной записке было сказано: „Я Вас люблю. Увидимся в палате“.

Мой дорогой, я Вас тоже люблю, восхищаюсь Вами — художником и человеком».

«Писать вам — потребность моей души»

В Театре имени Моссовета в свое время была создана книга «О Раневской». Это рассказы людей, с которыми она дружила, работала и которые с радостью откликнулись на предложение поделиться своими воспоминаниями о Фаине Георгиевне. Когда началась работа над книгой, из Тбилиси пришла открытка: «Дорогие мои! Будто Бог услышал мою просьбу создать книгу о Фаине Георгиевне. Если удастся копнуть глубоко, может получиться очень интересная книга о замечательной актрисе, о замечательном человеке… Ваша Верико Анджапаридзе». Через некоторое время Верико прислала свои воспоминания, которые по целому ряду обстоятельств не вошли в книгу. Думаю, все, знавшие и любившие этих двух великих женщин и актрис, с интересом прочтут это щемящее душу письмо.

Лев Лосев, директор Театра имени Моссовета

Дорогая моя, любимый друг, Фаина! Вы единственная, кому я писала письма, была еще Маричка — моя сестра, но ее уже давно нет, сегодня нет в живых и вас, но я все-таки пишу вам — это потребность моей души. Думая о вас, прежде всего вижу ваши глаза — огромные, нежные, но строгие и сильные, — я всегда дочитывала в них то, что не договаривалось в словах. Они исчерпывали чувства, как на портретах великих мастеров. На вашем резко вылепленном лице глаза ваши всегда улыбались, и улыбка была мягкая, добрая, даже когда вы иронизировали, и как хорошо, что у вас есть чувство юмора — это не просто хорошо, это очень хорошо, — ибо кое-что трагическое вы переводите в состояние, которое вам нетрудно побороть, и этому помогает чувство юмора, одно из самых замечательных качеств вашего характера.

Фаина, моя дорогая, никак не могу заставить себя поверить в то, что вас нет, что вы мне уже не ответите, что от вас больше не придет ни одного письма, а ведь я всегда ждала ваших писем, они нужны были мне, необходимы — почему? Я прочту вам выдержку из вашего письма, и вы поймете!

«Верико, моя обожаемая, пока я жива, вы не должны

чувствовать одиночества. Я ведь не расстаюсь с мыслями о вас ни на одну минуту. У меня, кроме вас, нет никого, кто мне нужен, кто дорог, моя Верико, моя неповторимая актриса, я верный ваш друг до конца моих дней. Что такое одиночество, мне известно хорошо, у вас его не должно быть. А возможно, что каждый человек одинок, если человек мыслящий…» И дальше: «Я не могу передать силу моей благодарности вам за вашу доброту ко мне, за вашу дружбу. Вы моя самая дорогая, самая прекрасная — пишите мне, когда вам одиноко и грустно, всем сердцем, всей душой я ваша. Раневская».

Я писала вам обо всем, что радовало, что огорчало. И я лишилась этого чудесного дара дружбы с вами, лишилась человека с большим сердцем, видевшего творческую сторону жизни.

Моя дорогая, очень любимая Фаина, разве я могу забыть, как вы говорили, что жадно любите жизнь! Когда думаю о вас, у меня начинают болеть мозги. Кончаю письмо, в глазах мокро, они мешают видеть.

Ваша всегда Верико АНДЖАПАРИДЗЕ

«Ненавижу цинизм за его общедоступность» (Записи 80-х годов)

Своего рода парадокс, но парадокс объяснимый. Вот она сидит за фортепьяно — вполне респектабельная дама в шелках, взбитой прическе, пенсне и поет: «Почему я не сокол? Почему я не летаю?» Повторяет музыкальную фразу не раз, не два — долбит и вопрошает так серьезно, что минуты достаточно, чтобы понять — дуреха.

А вот она же актриса Фаина Раневская — стоит перед накрытым свадебным столом и буквально буравит грека Дымбу и пьяненького своего мужа злобными глазками. (Куда девались ее большие глаза?) Жадная, пошлая, наглая, отвратительная, но все равно восхищенного взгляда оторвать от нее не можешь. (И от Абдулова, Грибова тоже не можешь — таких блистательных эпизодов в нашем кино раз-два и обчелся.) Фаина Георгиевна сердилась — играла, слыша за сценой восторженный шепот: «Муля, не нервируй меня!» Фильм бог знает когда сошел с экрана, но реплика живет, стала расхожей и звучит то здесь, то там применительно к случаю. Отчего звучит? Оттого, что принадлежит она Раневской. Не героине Раневской, а ей самой, и убедить публику в обратном вряд ли возможно. В ее ролях, во всех ролях, равно положительных и отрицательных, зрители прежде всего видят ее самое. Ее ум, позволяющий разглядеть в людях скрытое от других; юмор, придающий особую окраску ее голосу, поведению и неповторимое лукавство ее взгляду; но главное, что чувствуют все и что она не прячет (или не может спрятать?), это ее сердце. Насмешливая, проницательная, порой резкая, она была добра той высшей добротой, в основе которой — понимание. Она знала: жизнь редко бывает справедливой, редко дарит людям полноту счастья, она сложна — и необходимо мужество, чтобы прожить ее достойно. В тех последних ролях, которые ей довелось сыграть — в «Странной миссис Сэвидж», «Дальше — тишина» и в дальних, которые меньше знают: в «Лисичках», в гениальной «Мечте», — ее чувствования, ее прозрения пронзительны и бесконечно искренни.

Своих зрителей она не обманывала.

Сегодняшняя публикация это подтверждает. 27 июля — 100 лет со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской.

Когда на репетиции в руках моего партнера я вижу смятые, слежавшиеся листки — отпечатанную на машинке роль, которую ему не захотелось переписать своей рукой, я понимаю: мы говорим с

этим человеком на разных языках. Вы подумаете: мелочь, пустяк, — но в пустяке труднее обмануть, чем в крупном. В крупном можно притвориться, на пустяки же, как правило, внимания не тратят.

Партнер для меня все. С талантливыми становлюсь талантливой, с бездарными — бездарной. Никогда не понимала и не пойму, каким образом великие актеры играли с неталантливыми людьми. Кто и что их вдохновляло, когда рядом стоял НЕКТО С ПУСТЫМИ ГЛАЗАМИ.

Моя учительница, П. Л. Вульф, говорила: «Будь благородна в жизни, тогда тебе поверят, если ты будешь играть благородного человека на сцене».

У меня нет интеллигентных знакомых. Любимые умерли. Все говорят одно и то же, всех объединяет быт, вне быта не попадаются, да и я, будучи вне быта, никуда не гожусь.

И зачем я все это пишу? Себе самой. Смертное одиночество.

Пристают, просят писать, писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо — не хочется, писать о себе хорошо — неприлично. Значит, надо молчать. К тому же стала делать ошибки, а это постыдно.

Я знаю самое главное, я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так доживаю, с этой отдачей…

Умерли мои все, ушло все. Боюсь сойти с ума.

Воспитать ребенка можно до 16 лет — дома! Воспитать режиссера — может и должна библиотека, музей, музыка, среда, вкус — это тоже талант, вкус — это основа. Отсутствие вкуса — путь к преступлению.

Для некоторых старость особенно тяжела и трагична. Это те, кто остаются Томом и Геки Финном.

У меня хватило ума ГЛУПО прожить жизнь.

Ушедшие профессии: доктора, повара, актеры.

(Плятту во время репетиции, запись в тетрадке с ролью.) Собачку взяли! и у меня счастливый день! Два года ждала собака хозяина, бросившего ее. Я написала доброй женщине, приручившей собаку, словами Чехова: какое наслаждение уважать людей. Дни и ночи она была подле покинутой собаки. Не смейся!..

Славочка, Слава, Слава! Ты заметил, какой у бездарных апломб? Однажды в молодости я убила в себе червя тщеславия — я подумала: раз я не обладаю гением Чаплина, гением Шаляпина, значит, я обычная актриса. И на этом успокоилась. И сейчас в старости веду себя пристойно, без претензий — ролей не выпрашиваю, годами их не получаю. Тяжело мне, как корове, которую забыли подоить. Твоя Ф. Р. 74-й, 75-й, до конца дней.

Сняли на телевидении. Я в ужасе: хлопочу мордой. Надо теперь

учиться заново, как не надо.

Увидала на балконе воробья — клевал печенье. Стало нравиться жить на свете. Глупо это.

Перечитываю Толстого, чтоб умнеть; перечитываю Толстого — это осмысляет мою жизнь теперь. Так он мне дорог, так понятен. Так жалею его — моего Бога. И С. А. тоже жалко, жалко иначе, — но очень жалко.

Зимой, когда могилы их покрыты снегом, еще больнее, еще нетерпимей, все там. Сейчас ночь, ветер и такое одиночество, такое одиночество. Скорей бы и мне. Сегодня изорвала все, что писала три года, книгу о моей жизни, ни к чему это. И то, что сейчас записала, — тоже ни к чему.

Когда я слышу «приглашение» «приходите потрепаться» — мне хочется плакать.

Я вообще заметила, что талант всегда тянется к таланту, и только посредственность остается равнодушной, а иногда даже враждебна таланту.

Горький говорил, «талант — это вера в себя», а по-моему, талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности.

Ленинград без Ахматовой для меня поблек, не могу себя заставить съездить на ее холмик взглянуть. Зачем?? У меня в ушах ее голос, смех. ‹…› В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я об этом сказала Анне Андреевне. «„Сжала руки под темной вуалью…“ — это тоже мои „мули“», — сказала она. ‹…› Ахматова чудо. Оценят ли ее потомки? Поймут ли? Узнают ли в ней гения? Нет, наверное.

Не пишу, так как очень люблю ее.

Мне везло на людей в долгой моей жизни, редкостно добрых, редкостно талантливых. Никого из них уже со мной нет. Сейчас моя жизнь — воспоминания об ушедших.

Из писем Э. Гарину и Х. Локшиной (середина 70-х)

Гостиница полна иностранцев. Столетние старушки носятся как угорелые, в ресторане галдят на всех языках, — прислушиваюсь к разговорам, понимаю, что нет большего счастья, как обладание

одной-единственной извилиной в мозгу и большим количеством долларов! За номер я плачу 100 рублей в месяц, суточные не получаю, расходы огромные. И вспомнился мне рассказ о старом еврее, который сидит на ступеньках вагона мчащегося поезда и причитает: «Боже мой, боже мой, сейчас кондуктор употребляет мою Розочку за то, что пустил нас без билетов, маленький Монечка написал в продукты, и вообще мы едем не в ту сторону».

В театре небывалый по мощности бардак, даже стыдно на старости лет в нем фигурировать. В городе не бываю, а больше лежу и думаю о том, чем бы мне заняться постыдным. Со своими коллегами встречаюсь по необходимости с ними «творить». Они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность. ‹…› Трудно найти слова, чтобы охарактеризовать этот академический театр, — тут нужен гений Булгакова. Уж сколько лет таскаюсь по гастролям, а такого стыдобища не помню… Провалились. Провалились торжественно и бесшумно. ‹…› В старости главное — чувство достоинства, а его меня лишили.

Почему-то руководство и администрация этого академического торгуют актерами, вместо того чтобы продавать селедки.

Море меня никогда не волновало, хотя родилась у моря. А лес люблю, дерево могу полюбить, как живого человека: деревья — мыслители.

Из беседы с В. Ардаматским

«Она родилась в очень богатой семье, настолько богатой, что в 1917 году семья эмигрировала на собственном пароходе».

Ради бога, не подумайте, что я тогда исповедовала революционные убеждения. Боже упаси. Просто я была из тех восторженных девиц, которые на вечерах с побледневшими лицами декламировали горьковского «Буревестника» и любили повторять слова нашего земляка Чехова, что наступит время, когда придет иная жизнь, красивая, и люди в ней тоже будут красивыми. И тогда мы думали, что эта красивая жизнь наступит уже завтра… Господи, мать рыдает, я рыдаю, мучительно больно, страшно, но своего решения я изменить не могла, я и тогда была страшно самолюбива и упряма. ‹…› И вот моя самостоятельная жизнь началась.

‹…› Боже, какое это было страшное и неповторимо красивое время. Красные приближались, по ночам в городе слышалась

стрельба, а мы в полупустом театре играли какие-то нелепые водевили. И был свирепый голод… Моя подружка на сцене упала в голодный обморок. ‹…›

Однажды за кулисы к нам пришел грозный усатый комиссар. Он поблагодарил нас за работу для красноармейцев и вдруг спросил: не можем ли мы сыграть для них что-нибудь из классики? Через несколько дней мы сыграли чеховскую «Чайку». Нетрудно представить, что это был за спектакль по качеству исполнения, но я такого тихого зала до того не знала, а после окончания зал кричал «ура». ‹…› После к нам за кулисы снова пришел комиссар, он объявил: «Товарища артисты, наш комдив в знак благодарности вам и с призывом продолжать ваше святое дело приказал выдать вам красноармейский паек».

‹…› Свое по театрам исходила в 20-30-е годы, была я тогда молодой провинциальной актрисой, которой судьба подарила Москву в пору буйного расцвета театров. Каждый свободный вечер — в театре. Моя унылая носатая физиономия всовывалась в окошечко какого-то театрального администратора, и я печальным контральто произносила, заглядывая в металлические глаза: «Извините меня, пожалуйста, я провинциальная артистка, никогда не бывавшая в хорошем театре». Действовало безотказно. Правда, при попытке пройти в один театр вторично администратор мне посоветовал дважды не появляться: «Вы со своим лицом запоминаетесь». В то время я перенесла помешательство на театрах Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, Охлопкова, Вахтангова. Прежде всего я стремилась увидеть Бабанову, Глизер, Мансурову, Гоголеву, Доб-ржанскую, Андровскую, Книппер-Чехову и других. Боже, как постыдно я завидовала им, но, придя домой, в свою комнатушку на Пименовском, я «играла» их роли, как бы примериваясь: «А я могла бы?» Из всех театров на особом месте у меня стоял МХАТ, на его спектакли я ходила как в театральный университет, многие смотрела по нескольку раз. Однако причиной тому стало одно непредвиденное обстоятельство: я влюбилась в Качалова, влюбилась на тяжкую муку себе, ибо в него влюблены были все, и не только женщины. Однажды я подкараулила Качалова у служебного входа в театр и пропела ему свою печальную арию о провинциальной актрисе, которая никогда не была в хорошем театре. К. выслушал, вглядываясь с улыбкой, и, взяв меня под локоть, сказал: «Идемте со мной». Он провел меня в театр за кулисы и показал там место: сидите здесь, но тихо. Шел спектакль «На дне», который я уже смотрела. Нет у меня слов, чтобы передать те мои закулисные переживания среди запахов клея и краски… Но вот по ходу действия со сцены за кулисы вышел К. И прямо ко мне: «Сидите? Ну, сидите, только тихо». Боже, в

темноте кулис мне виделась радуга! А когда спектакль окончился, он снова подошел ко мне: «Ну, провинциальная, пошли домой!» Я проводила его до дома, и радуга шла вместе со мной. Но путь оказался очень коротким. Только и спросил он у меня, в какой провинциальной труппе я играю, и я, теряя дыхание, выпалила: «В таганрогской, ростовской и симферопольской!» К. остановился и посмотрел на меня явно подозрительно, и тогда я, запинаясь (когда я волнуюсь, я всегда заикаюсь), пояснила, что в этих театрах я играла в разное время. Качалов рассмеялся: «Ладно, артистка трех театров, в субботу приходите к театру, я добуду вам контрамарку. Пойдет „Вишневый сад“». Надо ли говорить, что в субботу я заняла пост у служебного входа в театр еще в обеденное время. ‹…›

Однажды я увиделась с К. сразу после спектакля «Воскресение», где он блистательно исполнял роль «от автора». Он был мрачен… «Я сгораю от стыда, — начал он глухим, совсем не своим голосом. — Сегодня я читал невыносимо плохо, барахтался на поверхности толстовского текста, а погрузиться в его глубину не мог. А так все было как всегда: напряженно внимающий зал, аплодисменты и у служебного входа поклонники просят автограф, но я пробежал мимо них, не поднимая глаз, как последний обманщик». — «Не верю, что вы можете играть плохо». Он печально и сердито взглянул на меня: «Несерьезный, непрофессиональный комплимент, сударыня. У каждого, даже у зело опытного актера бывает — вдруг сыграет роль плохо, но если после этого уйдет со сцены спокойный, без тревоги и стыда, он вообще не актер, а ремесленник, постигший приемы обмана публики, — но обмануть себя при этом — это уже катастрофа». Милый Василий Иванович, вот как поздно я благодарю Вас за тот высокий урок.

Я как обычно приехала в театр за три часа до занавеса. Сижу у себя, сосредоточиваюсь. Вдруг слышу оживленный разговор двух актрис в соседней комнате. Знаете, о чем они говорили? О том, что есть какой-то Борис Борисович, который может достать дубленку по умеренной цене, но что рискованно давать ему деньги вперед. Я не выдержала, заглянула в их комнату: «Как можно перед выходом на сцену обсуждать проблему дубленки?» Они, пожалуй, моему вопросу удивились. «Фаина Георгиевна, да что Вы? Жизнь есть жизнь». — «А театр — это храм!» — крикнула я. Почти уверена, что они потом говорили о том, что Раневская, видать, совсем выжила из ума. Но ведь их же учили актерскому мастерству, и неужели никто не объяснил им, что такое творческая дисциплина и самодисциплина актера? Вот сижу теперь и думаю, как возможно, почему возможно такое.

Вообще я не умею и не люблю давать интервью. У меня всегда такое ощущение, что корреспонденты задают мне вопросы такого типа: скажите, товарищ Раневская, сколько будет дважды два? И мне хочется ответить: будет пять. Я же Раневская, и корреспонденты, я думаю, ждут от меня какой-нибудь хохмы.

Дорабатывая спектакль «Шторм», Завадский решил роль спекулянтки изъять. Я спросила у него: почему? Он как-то странно улыбнулся и ответил: «Это вызвано и вами. Вы слишком хорошо играете свою роль спекулянтки, и от этого она запоминается чуть ли не как главная фигура спектакля. А пьеса и спектакль о чем-то гораздо большем, и в этом большем дивертисмент со спекулянткой становится чуждым». Я позволила не согласиться и начала бормотать, что моя спекулянтка такой же враг революции, как и все другие действующие в спектакле враги. «Все дело в акценте», — холодно обронил Ю. А. Я вдруг ляпнула: «Если нужно для дела, я буду играть свою роль хуже». Завадский весь порозовел и сказал: «Вы провоцируете меня на заведомо глупый разговор, я считаю за лучшее закончить его своим молчанием. Но и Вас, Фаина Георгиевна, я просил бы завершить эту историю молчанием. Я же знаю Ваш язык».

Письмо Раневской от Любови Орловой (на нем надпись Ф. Г. «Незадолго до смерти»)

Какую радость мне доставила Ваша телеграмма! Сколько нежных, ласковых слов! Спасибо, спасибо Вам!

Я заплакала (это бывает со мной очень редко). Ко мне пришел мой лечащий врач, спросил: «Что с Вами?» Я ему прочла Вашу телеграмму и испытала гордость от подписи РАНЕВСКАЯ, и что мы дружим сорок лет, и что Вы моя фея. Доктор смотрел Вас в «Тишине» и до сих пор не может забыть. Спросил, какую Вы готовите новую роль? И мне было так стыдно и больно ответить, что нет у Вас никакой новой роли. «Как же так, — он говорит, — такая актриса, такая актриса!» Вот Вы говорите, и у Вас нет новой роли. Как же так?

Я подумала, нашему руководству неважно, будем мы играть или нет новые роли. ‹…›

Когда он ушел, я долго думала, как подло и возмутительно сложилась наша творческая жизнь в театре. Ведь Вы и я выпрашивали те роли, которые кормят театр. Ваша «Тишина», Ваша «Сэвидж», которую

Вы мне подарили…

Мы неправильно себя вели. Нам надо было орать, скандалить, жаловаться в министерство. ‹…› Но… у нас не тот характер. Достоинство не позволяет. Я поправляюсь, но играть особого желания нет. Я вся исколота. ‹…› Я преклоняюсь перед Вашим мужеством и терпением. Ведь Вас каждый день колят!

Моя дорогая, любимая фея! Это письмо мне очень захотелось Вам написать.

Я нежно Вас целую, обнимаю, очень люблю.

Всегда Ваша Люба Орлова

Из архивов ЦГАЛИ

100 лет одиночества

К Раневской как-то обратились с просьбой написать автобиографию. Был заключен договор с издательством и даже получен аванс. Первая фраза, которую написала Фаина Георгиевна: «Мой отец был небогатый нефтепромышленник». Дело не пошло, аванс Раневской пришлось вернуть. Позднее она уничтожила черновики. Остались лишь письма друзьям и близким. Такое вот, например:

«Совершенно секретно. Гражданину Хвостикову-Запупянскому от гражданки Белокобылкиной.

Дорогой гражданин Хиздриков-Канапаткин!

Очень грущу, что не могу лично пожать Вашу честную — хотя и не очень чистую — руку! Болезнь приковала меня к постели. Это не особенно приятно — лежать на ложе, из которого винтом выскочили пружинки, которые имеют тенденцию впиваться в мою многострадальную попку! Но этим не ограничиваются мои несчастья: у меня выскочила печенка и торчит кулаком — я ее впихиваю обратно, но она выскакивает, как ванька-встанька. Это печальное обстоятельство лишает меня возможности выполнить Ваше поручение в магазине „Культторга“. Как только удастся вдвинуть печенку на ее прежнюю позицию, я Вам куплю марки всего земного шара. Куплю глобус и прочие культурные товары. А пока обнимаю Вас и целую в спинной хребет. Желаю всего наилучшего. С глубоким уважением, ваша племянница — Канарейкина-Клопикова из города Вырвизуб. Мой адрес: г. Вырвизуб. Улица Лахудрова, дом № 4711. P. S. Дорогой дядя, Афанасий Кондратьевич! ‹…› Еще раз целую Вас в загривок и прочие конечности.

Напишите мне что-нибудь культурное, можно и некультурное, только напишите, дядюшка». (1950 г.)

Адресат этого послания — Алексей Валентинович Щеглов, мой отец, автор и издатель книги о Раневской.

Фаина Георгиевна Раневская родилась сто лет назад в Таганроге и всю жизнь гордилась тем, что в ее любимом городе родился Чехов и провел свои последние дни император

Александр I. Двадцатью годами позже попала в семью Павлы Леонтьевны Вульф — известной провинциальной актрисы, бабушки А. В. Щеглова. Поэтому книга его очень личная, это своего рода семейный рассказ.

Раневская вспоминала, что как-то старший брат, гимназист, сказал ей, очевидно, под влиянием революционных настроений: «Наш отец вор, и в доме у нас все ворованное». Удрученная Фаина воскликнула: «И куколки мои тоже ворованные?!» — «Да», — безжалостно ответил брат. Фаина представила, как ее любимая мама стоит на полундре, а папа с огромным мешком грабит магазин детских игрушек. Понятия «вор» и «эксплуататор» для брата не отличались по смыслу. Младшая сестра ему безгранично верила. Из дома решили бежать. Подготовились основательно: купили подсолнух. По дороге на вокзал поделили его пополам и с наслаждением лузгали семечки. Тут их нагнал городовой в коляске, отвез в участок, где ждали «воры-эксплуататоры», а дома была порка.

После революции семья эмигрировала, а Фаина (позже став «чеховской» Раневской) возмутилась: «В России революция, а вы мне предлагаете бежать?!» И осталась одна как перст. Ей было около 20 лет, когда в Ростове-на-Дону, посмотрев один из спектаклей с участием П. Л. Вульф, Фаина Георгиевна пришла к ней домой. У известной актрисы разыгралась мигрень, она никого не принимала. Но настойчивости странной девицы пришлось уступить. Вошла какая-то нескладная, рыжая, со словами восторга и восхищения. А потом стала слезно умолять взять ее в труппу, потому что она тоже хочет стать актрисой. Павла Леонтьевна холодно дала ей пьесу, которую сама для себя забраковала: «Выберите любую роль — и через неделю мне покажите». Раневская выбрала роль итальянской актрисы, нашла единственного на весь город итальянца — булочника и стала брать у него уроки мимики и жеста, отдавая весь дневной заработок, который получала, участвуя в массовках. Когда она явилась через неделю к Вульф с готовой ролью, та поняла, что перед ней великий талант, и взяла Фаину Георгиевну сначала к себе в семью, так как театр уезжал на гастроли в Крым и немедленно зачислить девушку в труппу возможности не было. С этого началась их почти 45-летняя дружба и неразрывная связь Раневской с нашей семьей, длившаяся около 70 лет. «Павла Леонтьевна спасла меня от улицы», — говорила Раневская.

А в начале шестидесятых она получила письмо из Румынии от своих родных: матери, отца, старшего брата. Они прочли о ней в газетах и узнали свою Фаину, с которой расстались в 1917-м. Она мечтала поехать в Румынию, повидаться с ними. Но не

случилось.

Тогда же, в шестидесятых, в Россию из Турции вернулась ее родная сестра, Изабелла Георгиевна Аллен. Долгое время она жила в Париже, вышла замуж, переехала в Турцию, ее муж умер. Оставшись совсем одна, Аллен прочла однажды о своей сестре: лауреат Государственных премий, кинозвезда, крупная театральная актриса… Несомненно, богатый человек. Написала Раневской письмо и приехала по ее приглашению в Москву. Приехала окончательно, поменяв 1000 долларов на 900 рублей по курсу. Сестры стали жить вместе. Богатство, машины и виллы обернулись двумя комнатами в доме на Котельнической набережной — там, где кинотеатр «Иллюзион».

Фаину Георгиевну попросили как-то рассказать о впечатлениях Беллы о Турции. «Все турки дураки — они вешают картины под самый потолок! Представляете, как надо задирать голову, ведь они же сидят на полу!» — поведала Раневская рассказ сестры.

Белла и в старости оставалась необычайно красивой. Ее адаптация к социалистической действительности проходила в жанре эксцентрики: «Я заказала очки на улице какого-то сентября, где это, Фаина?» (имелась в виду улица 25 лет Октября). Она заходила в продуктовый магазин и, когда подходила ее очередь, спрашивала продавщицу: «Как здоровье вашей матушки? А батюшки?» Сзади медленно наливалась злобой московская очередь. Раневская повела Беллу в лучший актерский ресторан ЦДРИ. Пока ждали официанта, Белла заметила: «Невозможно же сидеть, здесь пахнет бараньим жиром».

Вскоре Беллу разыскал ее давний поклонник — Николай Николаевич Куракин, сын князя. В советское время он собирал и ремонтировал церковную утварь. Это был высокий, всегда очень подтянутый старик, в глазах его светились решимость и отчаяние. Долгие часы из комнаты Беллы несся сдобный куракинский бас. Он по-прежнему был влюблен. Раневская уставала и злилась за стенкой, в своей комнате: «Старый осел, совсем сошел с ума…» Потом Изабелла Георгиевна тяжело заболела и умерла. Раневская похоронила ее на Донском кладбище, сама выбрала камень из лабрадора: «Изабелле Георгиевне Аллен. Моей дорогой сестре».

«Мое самое раннее воспоминание о Раневской совпадает с первыми впечатлениями жизни: 1942 год, эвакуация, Ташкент, улица Кафанова. Мы жили в деревянном доме с высоким цоколем; наверх, в бельэтаж, вела открытая лестница, по которой Раневская поднималась в свою комнату, где стоял ее диван, где она спала, беспрерывно курила и однажды заснула с папиросой в руке, выронила ее, одеяло и матрас задымились, был переполох. С тех

пор с Фаиной Георгиевной я связывал клубы дыма, а поскольку тогда только учился говорить, называл ее „Фуфа“. Так Фуфой стали называть Раневскую друзья, приходившие к нам в Ташкенте, и потом это имя сопровождало ее всю жизнь.

В доме на улице Кафанова часто бывала Анна Андреевна Ахматова. Фаина Георгиевна, бабушка и все домочадцы располагались в большой комнате, и Ахматова читала свои стихи, закрыв глаза, тихо-тихо, нараспев. Я ничего не понимал, но любил рассматривать кремовую брошь из яшмы на груди Анны Андреевны. Все лучшее, что говорили о ее стихах, я связывал с этой брошью. Когда Фаина Георгиевна спрашивала: „А ты знаешь, кто это?“, я отвечал: „Мировая тетя“. Раневской нравился мои ответ, и она тоже так называла Ахматову. И еще Рэбе и ласково Рэбенька — за мудрость; я отчетливо помню приглушенную, нежную интонацию ее низкого голоса: „Рэбе, скажите…“

У нас была книжка с портретами полководцев, которую со мной рассматривала Фаина Георгиевна. Она потом часто с восхищением пересказывала друзьям эпизод из моего раннего детства, как я, показывая на книжку, повторял: Фулевич, Фулевич… Тузя ма газька… „И я поняла! Товарищи, он же говорит: Суворов, Суворов… Кутузов без глаза!“

Ей, наверное, в то время очень не хватало кого-нибудь, о ком она могла бы заботиться. Очевидно, тогда и родилось мое „официальное“ именование, придуманное Раневской: эрзац-внук — с ударением на первом слоге».

(Из книги А. В. Щеглова)

«Драстуйте дарагой дядичька. Вам пишит ваша плимяница из города — Краснокурьева. Наш город Краснокурьев славитца своими курями. Куры у нас белыя и чорныя, и серинькия а почему наш горад называеца Краснокурьев я не знаю. Я учусь в первом класи и щитаюсь первой учиницай патаму что другие рибята пишат ище хужи миня. Дарагой дядичка пожалуста пришлите мне к новому году много подарков за то что я так хорошо пишу без одной ашипки. А сичас дядичка я Вам посылаю шикалатку патаму что вы дядичка такой сукин сын что кроми шикалатки ничего не жрете Дядичка у миня спортился корондашык и сафсем ни пипшит а па-таму я вас очинь кребко обнимаю и цулую. Ваша плименица.

Дуся Пузикова».

(письмо Раневской А. Щеглову, начало 50-х годов)

* * *

Однажды Раневская привезла заводную игрушку — сувенир от маршала Толбухина для ее «эрзац-внука». Наверное, она выпросила у него этот обтекаемой формы темно-синий автомобильчик размером с челнок зингеровской швейной машины с поперечным колесиком на брюшке. Хитрость трофейной игрушки заключалась в том, что, когда она подъезжала к краю стола, передок свешивался, центр тяжести перемещался и поперечное колесико, касаясь поверхности, отворачивало машинку от края пропасти — она никогда не падала на пол.

С Толбухиным Раневская встретилась в Тбилиси. Ее рассказы о маршале были проникнуты удивлением, нежностью и совершенно лишены свойственной Раневской иронии. В нем она нашла черты, каких раньше не встречала у военных.

Сохранилась удивительная фотография Раневской той поры. Она стоит в парке, высоко над городом, — широкополая шляпа, лицо волнующе прекрасно. И еще одна фотография с Толбухиным: сидят за столом, в руках рюмки, смотрят друг на друга, молодые, счастливые. А в 1949 году Толбухин умер.

Это было время Старопименовского переулка. Раневская продолжала жить в коммуналке, в невероятно темной — с окном на стену соседнего дома — комнате, в которой всегда горел свет и с которой связаны имена самых разных людей — друзей и гостей Раневской, легенды о целой галерее домашних работниц. Лиза была, пожалуй, самая колоритная. Больше всего она хотела выйти замуж, вопреки своей вполне водевильной, малопривлекательной внешности. Как-то пришла Любовь Петровна Орлова, сняла черную норковую шубку в передней и беседовала с Раневской в ее комнате. Лиза вызвала хозяйку и попросила тайно дать ей на полчаса эту шубу для свидания с женихом, дабы поднять свои шансы. Раневская разрешила. Домработница ушла. Где-то через час Любовь Петровна собралась уходить, Раневская изо всех сил удерживала ее. Лизы не было. Гостья пробыла у Раневской три часа, пока Лиза, войдя в переднюю, не хлопнула дверью. Орлова была выпущена на волю, а Раневская выплакала эту историю Павле Леонтьевне Вульф. Еще

более решительной Лиза была в бытовых вопросах. Однажды Фаина Георгиевна услышала требовательный украинский говорок своей домработницы, звонившей по телефону: «Это дезинфекция? С вами ховорить народная артистка Раневская. У чем дело? Мене заели клопи!»

Приходил Александр Румнев, искусный график, обладавший изысканными манерами — «последний котелок Москвы» (снимался с Фаиной Георгиевной в сцене бала в «Золушке»). Заходил в ее полутемную комнату, они долго беседовали, он садился рядом и рисовал ее; часто засиживались допоздна. По Ли-зиным меркам обстановка была вполне интимная. Она выразила протест: «Фаина Георгиевна, что ж это такое?! Ходить-ходить, на кровать садиться, а предложение не делаеть?!»

Внешне Лиза была похожа на Петра Первого, за что Раневская так ее и называла. Готовясь к свиданию, она бесконечно звонила по телефону своим подругам: «Маня, в тебе бусы есть? Нет? Пока… Нюра, в тебе бусы есть? Нет? Пока». — «Зачем тебе бусы?» — поинтересовалась Фаина Георгиевна. «А шоб кавалеру было шо крутить, пока мы у кино сидим!»

Когда замужество наконец состоялось, Раневская подарила Лизе свою только что купленную роскошную кровать — для продолжения Лизиного рода. Сама так до конца жизни и спала на тахте.

Раневская очень боялась, что ей могут предложить сотрудничать с КГБ. Как отказать, как быть? Один знакомый посоветовал, в случае если такое предложение поступит, сказать, что она кричит во сне. Тогда, мол, как неблагонадежная, способная выболтать тайну, она не подойдет, предложение будет снято. Прошло время. Однажды, когда Фаина Георгиевна работала в Театре имени Моссовета, к ней обратился член партбюро с предложением вступить в партию. «Ой, что вы, голубчик! Я не могу, я же кричу во сне!» — воскликнула бедная Раневская. Слукавила она или действительно перепутала эти департаменты, Бог знает!

Тематически эта история имела продолжение. В Ленинграде на гастролях Раневской предложили роскошный номер в «Европейской» с видом на Русский музей, сквер, площадь Искусств. Она охотно заняла его и несколько дней в хорошем расположении духа принимала своих ленинградских друзей — рассказывала анекдоты, обменивалась новостями, ругала власть и чиновников. Через неделю к ней пришел администратор и очень вежливо предложил переехать в такой же номер на другой этаж. «Почему? — возмутилась актриса. — Номеров много, а Раневская у вас одна». — «Да, да, — лепетал администратор, — но мы очень

вас просим переехать, там вам будет удобнее». — «Мне и здесь хорошо», — отказалась Раневская. Пришел директор «Европейской» и, включив воду в ванной, объяснил, что на днях ждет высокое духовное лицо, этот номер в гостинице единственный, оборудованный прослушивающим устройством. После этого Фаина Георгиевна моментально переехала. На новом месте оставшиеся ночи она не спала, вспоминая свои высказывания в прежнем номере и размышляя о том, что с ней теперь будет.

Вообще на гастролях с Раневской всегда случалось нечто непредвиденное. Она любила Львов, город этот был дорог ей, здесь снимали ее «Мечту». Львов, пронизанный прежним, довоенным, чуть польским духом, был похож на старую, еще неразрушенную Варшаву.

В свободный день Фаина Георгиевна решила поехать на ипподром. Очевидно, она задумала эту акцию еще в Москве. Довольно быстро насладившись видом лошадей, вошла в азарт и стала делать ставки, раз от разу проигрывая все больше. Кончилось тем, что в чужом городе, далеко от дома, осталась без единой копейки. Ехала на трамвае зайцем, ни жива ни мертва от страха в ожидании контролера.

В тот приезд у Раневской — впрочем, как обычно — была бессонница. Выйдя на балкон гостиницы, она с ужасом обнаружила в небе светящееся существительное действия на букву «Е». Потрясенная ночными порядками любимого города, добропорядочно соблюдавшего советский моральный кодекс днем, Раневская уже не смогла заснуть и лишь на рассвете разглядела потухшую первую букву «М» на вывеске мебельного магазина, написанной по-украински: «МЕБЛИ».

Фаина Раневская: «Мне нужен XIX век»

«Я — кладбище несыгранных ролей. Я родилась недоношенной и ухожу из жизни недопоказанная и недовыявленная. Я недо… милый мой! И в творческом смысле — тоже. Кстати, все мои лучшие роли сыграли мужчины», — не раз говорила Фаина Георгиевна Раневская, с которой мне посчастливилось дружить и встречаться много лет.

«Я прожила жизнь не на своей улице и не в своей эпохе. Мне нужен XIX век. Срочно!»

Судьба распорядилась так, что Фаина Раневская (как Верико Анджапаридзе и Нонна Мордюкова) была названа в числе двадцати лучших актеров XX столетия. Это открытие Британской энциклопедии (1992) уже давно витало в воздухе. Ей на роду написано было стать великой. Высочайшую оценку таланта Ф. Г. Раневской в разные годы дали Анна Ахматова и Борис Пастернак, Алексей Толстой и Бертольт Брехт, Франклин Рузвельт и Галина Уланова, Дмитрий Шостакович и Святослав Рихтер…

И даже таков неутомимый почитатель искусства, как Сосо Джугашвили, после ночного кремлевского просмотра по-сталински гениально заметил, что ни за какими усиками и гримерскими нашлепками народному артисту Жарову не удается спрятаться и скрыться в своих ролях, что он и есть товарищ Жаров. Зато товарищ Раневская, практически ничего не наклеивая, выглядит на экране всегда разной (свидетельство С. М. Эйзенштейна).

Разрабатывая эту гениальную формулировку, год назад вместе с моим другом и режиссером Алексеем Габриловичем мы сняли двухсерийный фильм «Вспоминая Раневскую» (его дважды показывали по Центральному телевидению). В этой картине о Раневской вспоминают ее соратники по искусству и друзья, но не авторы фильма. Здесь же я предлагаю читателям то, что мне довелось слышать от Фаины Георгиевны с глазу на глаз. Мгновения, штрихи незабываемого общения с нею.

Флакончики

Фаина Георгиевна рассказывала, что юная Марина Цветаева испытывала пристрастие к… склянкам из-под духов, обнаруживая в них разнообразие, красоту и совершенство форм. Бывало, взяв маленький ножичек, Марина не спеша и аккуратно счищала наклейки с флакончика. А потом, любуясь им на просвет, говорила удовлетворенно: «Все. И этот ушел в вечность».

Где-то теперь эти склянки, прелестные формы, освобожденные цветаевской рукой? Ушли в вечность… На неприбранных московских дворах валяются пузырьки из-под тройного одеколона, который неимущие алкаши употребляют взамен водки и коньяка. На книжных развалах не встретишь томиков Марины Цветаевой: здесь их заменяют вошедшие в моду суррогаты литературы — пересказы модных телесериалов вроде «Возвращения в Эдем» или «Богатые тоже плачут», которые с непостижимым уму сопереживанием смотрит вся наша страна.

«Талант сейчас ни при чем», — любила повторять Раневская. Цветаева сейчас для многих-многих тоже ни при чем.

…А сдружились они еще в юности. Фаина Георгиевна рассказывала, как однажды, в пору Гражданской, прогуливаясь по набережной Феодосии, столкнулась с какой-то странной нелепой девицей, которая предлагала прохожим свои сочинения. Фаина взяла тетрадку, пролистала: стихи были несуразные, девица — косая. Раневская, расхохотавшись, вернула хозяйке ее творение. И пройдя далее, вдруг заметила Цветаеву, побледневшую от гнева, услышала ее негодующий голос: «Как вы смеете, Фаина, как вы смеете… так разговаривать с поэтом!»

Дивный старик

«Вспоминаю Феодосию в годы гражданской войны. Мы играем спектакль, а прямо за сценой жена директора театра жарит рыбу. Нас мутит от голода. Жалованья не платят. „Как вам не стыдно беспокоить человека на смертном одре?!“ — отмахивается от актеров директор.

Благодарю судьбу за Максимилиана Волошина, поэта и художника, жившего в Коктебеле. Он не дал мне умереть от голода. За дивного старика — композитора Спендиарова. Старик этот был такой восхитительный, трогательный.

И вот он приехал в Крым. Ему дали мой адрес. Он постучал в дверь. Я не знала его в лицо, он сказал: „Я — Спендиаров, приехал устраивать концерт, семья голодает“. — „Чем я могу вам помочь?“

Чудесный старик. Я побежала к комиссару: „Знаменитый композитор, он голодает!“ А уже подходили белые. И по городу были развешены листовки: „Бей жидов, спасай Россию!“

Был концерт. Сидели три человека. Бесстрашные. Моя театральная учительница П. Л. Вульф. Ее приятельница. И я. Он пришел после концерта и ночевал у нас. Сияющий. Счастливый. И сказал: „Я так счастлив! Какая была первая скрипка, как он играл хорошо!“

По молодости и глупости я сказала: „Но ведь сборов нет“. Он: „У меня еще есть золотые часы с цепочкой. Помогите продать, чтобы заплатить музыкантам“.

Опять побежала к комиссару. Он был озабочен. Я уже видела, что он укладывается. „Сбора не было, товарищ комиссар. Старичок уезжает ни с чем — дать бы пуд муки, пуд крупы“.

…Я написала обо всем этом дочери Спендиарова, когда она собирала материал для книги об отце в серию „Жизнь замечательных людей“. Она ответила: „Все, что вы достали папе, у него в поезде украли“.

И жена Горького рассказывала мне… В революцию, в 18-м, бросилась дама с моста в Неву. За ней две борзые. И все трое — камнем ко дну. От отчаяния. Горький рассказал об этому Ленину. „Бросьте сентиментальничать“, — ответил В. И.».

И, горестно помолчав, Раневская прибавляет: «Зверюга».

Восьмой квартет

Это было много десятилетий спустя.

— Я не имею права жаловаться, — рассказывала Раневская. — Мне везло на восхитительных людей. Нельзя жаловаться, когда общалась с Шостаковичем. Мы болели в одно и то же время. Встретились в больнице. Нас познакомил Михаил Ильич Ромм. Я рассказала Дмитрию Дмитриевичу, как с Анной Андреевной Ахматовой мы слушали его Восьмой квартет. Это было такое потрясение! Мы долго не могли оправиться.

На следующее утро (он уже очень плохо ходил) в дверях моей комнаты стоял Шостакович с пакетом в руках. И сказал мне: «Я позвонил домой. Мне прислали пластинки с моими квартетами, здесь есть и Восьмой, который вам полюбился». Он еле-еле удерживал пакет в руках, положил на стол, а потом, приподняв рукав пижамы, сказал: «Посмотрите, какая у меня рука». Я увидела очень худенькую детскую руку. Подумала: как же он донес? Это был очень тяжелый пакет.

Спросил, люблю ли я музыку? Я ответила: если что-то люблю по-настоящему в жизни, то это природа и музыка.

Он стал спрашивать.

«Кого вы любите больше всего?»

«О, я люблю такую далекую музыку. Бах, Глюк, Гендель…»

Он с таким интересом стал меня рассматривать.

«Любите ли вы оперу?»

«Нет. Кроме Вагнера».

Он опять посмотрел. С интересом.

«Вот Чайковский, — продолжала я, — написал бы музыку к „Евгению Онегину“, и жила бы она. А Пушкина не имел права трогать. Пушкин — сам музыка. Не надо играть Пушкина… Пожалуй, и читать в концертах не надо. А тем более петь, а тем более танцевать… И самого Пушкина ни в коем случае изображать не надо. Вот у Булгакова хватило такта написать пьесу о Пушкине без самого Пушкина».

Опять посмотрел с интересом. Но ничего не сказал.

А на обложке его квартетов я прочла: «С восхищением Ф. Г. Раневской».

Раневская смеется и грустит

«После спектакля подошел поклонник: „Товарищ Раневская, простите за нескромный вопрос: сколько вам лет?“ — „В субботу будет 115“. Он прямо обмер в восторге: „И в такие годы так играть!“».

* * *

«„Правда — хорошо, а счастье — лучше“ А. Н. Островского, где я, если вы помните, играю няньку Фелицату.

Знаете, почему эта пьеса современна? Там все — жулики».

* * *

«Зал принимал меня так, как будто я поставила людям клистир восторгов. Михаил Чехов в юбочке! Множество писем. Один написал: „С вас магарыч за вашу дивную игру“. Я заболею манией величия, и вы будете таскать мне передачи в сумасшедший дом».

* * *

«У актера С. нет никакого темперамента. На спектакле он меня все оплевывает».

* * *

«Вытянутый в длину лилипут. Лилипут сделал в трамвае пипи — вот и все, что сделал этот режиссер в искусстве».

* * *

«Вы — дивный редактор. Мои неглубокие мысли вы превращаете в пучину».

* * *

«Обо мне написал один старенький неариец. Сначала позвонил, не выговаривает ни одной буквы: „Я хочу о вас написать“. — „А вы умеете писать?“ Говорит: „Да!“ Я позволила ему из жалости, хотя мне это так же нужно, как вам срочно нужна венерическая болезнь. Боже, что он натворил! Он совершенно убил мое пожилое дарование. И на опубликованных фотографиях — две чужие старухи. Позвонила ему: „Что вы со мной сделали! Ваше заведение надо закрыть!“ А у него никакого заведения нет. Только жена с грудями во всех местах».

* * *

«Вы в человеческих подлостях — мальчишка и щенок».

* * *

«Боже, как я бестолкова, как я устала от Раневской, если б вы знали! От ее беспомощности, забывчивости. Но это с детства запущено. Это — не склероз, вернее, не только склероз».

* * *

«На Солнце — бардак. Там какие-то магнитные волны. Врачи мне сказали: „Пока магнитные волны, вы себя плохо будете чувствовать“. Я вся в магнитных волнах».

* * *

«У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Мне было бы стыдно иметь деньги, бриллианты, сберкнижки. Стыдно, я не могла бы… Знаете, в чем мое богатство? В том, что оно мне не нужно».

* * *

«Вы обязаны написать обо мне некролог. Я просто этого требую. С того света».

* * *

«Станьте Андреем Зорким до конца. Не пейте! Я боюсь того, что случилось очень со многими спившимися и ставшими просто не интересными людьми. Не пейте! Умоляю на коленях!.. Сотнягу могу отвалить».

* * *

«Монтень. Старик с трюизмами. Он говорил: „Бойтесь гостей как огня“. Когда она ушла из моей квартиры, шелковый отрез ушел вместе с ней».

* * *

«Я не могу есть мясо. Оно ходило, любило, смотрело… Может быть, я психопатка? Нет, я считаю себя нормальной психопаткой. Не могу есть мясо. Мясо я держу для людей».

* * *

«У меня нянька — пьяница, от нее пахнет водкой и мышами».

* * *

«Новый, 1978 год я встречала в постели, с Толстым. „Пойдемте к нам“, — звали соседи. „Нет, спасибо, у меня такая интересная встреча будет“. — „С кем?“ — „С Толстым“. Они меня считают сумасшедшей».

* * *

«Качалов мне когда-то сказал (он мне говорил „ты“, а я не могла): „Ты старомодна…“ Когда я впервые повстречалась с ним на Столешниковом, я упала в обморок. В начале века обмороки были в моде, и я этим широко пользовалась».

* * *

«Борис Пастернак слушал, как я читаю „Беззащитное существо“, и хохотал по-жеребячьи. А Анна Ахматова говорила:

„Фаина, вам одиннадцать лет и никогда не будет двенадцать. А ему — (Б. Пастернаку) всего четыре годика“».

* * *

«Приятельница меняла румынскую мебель на югославскую, югославскую на финскую… И умерла в пятьдесят лет, на мебельном гарнитуре. Девчонка!»

* * *

«Я лежала и думала о своей кончине. Меня обрадовал ваш звонок. Мы с вами люди одной крови. Я имею в виду и юмор, и печаль, и любовь к тому, чего уже нет».

* * *

«Страшно грустна моя жизнь. А вы хотите, чтобы я воткнула в попу куст сирени и делала перед вами стриптиз».

* * *

«Это не театр, а дачный сортир. Так тошно кончать свою жизнь в сортире. Я хожу в театр, как в молодости шла на аборт, а в старости — рвать зубы. Вы знаете, как будто Станиславский не рождался. Они удивляются, зачем я каждый раз играю по-разному».

Как это «не убий»?!

«Знакомые спрашивают: „Ну, кого ты сегодня жалеешь?“ — „Толстого! Уходил из дома, где столько детей нарожал. Гений несчастный!“

Вы мне или кто-нибудь в мире объясните, что это такое? В последнее время я не читаю ни Флобера, ни Мопассана. Это все о людях, которых они сочинили. А Толстой: он их знал, он пожимал им руку или не здоровался.

Восемьдесят лет — степень наслаждения и восторга Толстым. Сегодня я верю только Толстому. Я вижу его глазами. Все это было с ним. Больше отца он мне дорог — как небо. Как князь Андрей, я смотрю в небо и бываю очень печальна.

Самое сильное чувство — жалость. Я так мечтала, чтобы они на охоте не убили волка, не убили зайца. И как же могла Наташа Ростова, добрая, дивная, вытерпеть это?

И вы подумайте, дорогой, как незаразительны великие идеи! После того что написано им… воевать, проливать кровь?… Человечество, простите… подтерлось Толстым».

…В тот год я приехал к Раневской в подмосковный санаторий. Как «партийное имущество» он принадлежал Московскому горкому партии. Здесь отдыхала «элита» (глубоко же беспартийная Раневская — в порядке милостивого исключения). По роскошному парку слонялась в пижамах номенклатура, сопровождаемая женами в почти вечерних туалетах. На одной из аллей мы повстречались с несгибаемым большевиком-сталинцем Лазарем Моисеевичем Кагановичем. Правда, жизнь, а точнее, возраст чуточку подсогнули его и посеребрили суровую щетку усов, знакомых мне с детства по множеству портретов. Вышибленный из партии при Хрущеве, Лазарь Моисеевич находился здесь также «в порядке милостивого исключения».

С обеда Фаина Георгиевна принесла мне громадную лапу жареной индейки с яблоками. И пока я уплетал «партийный паек», Раневская рассказала мне вот такую историйку.

Недавно партотдыхающих возили на экскурсию в Театр имени Моссовета на спектакль «Петербургские сновидения». Это была талантливая инсценировка романа «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. Но Лазарь Моисеевич вернулся недовольным. И счел нужным переговорить с народной артисткой СССР. «Вы знаете, в этом спектакле мне кажется нечеткой, расплывчатой классовая расстановка сил, — сказал Каганович. — Убили какую-то старуху процентщицу — отъявленного эксплуататора. Думаю,

поделом. А на сцене начинаются, простите, какие-то сопли и вопли». — «Но, Лазарь Моисеевич, — возопила Раневская, — ведь одна из главных евангельских заповедей гласит: НЕ УБИЙ!» — «Как это „не убий“, Фаина Георгиевна?! — вскипел Каганович. — Как же „не убий“?! А если это классовый враг?…»

Что можно прибавить к этому маленькому, страшноватому штрижку нашего и по сей день еще социалистического бытия?

Вот автограф Раневской, исповедальные истины, перебеленные ее рукой в последние годы жизни:

> *«Кто познал нежность — тот отмечен. Копье Архангела пронзило его душу. И уж не будет душе этой ни покоя, ни меры никогда!»*
>
> *«Нежность — самый кроткий, самый робкий, божественный лик любви. Сестра нежности — жалость, и они всегда вместе».*

Андрей ЗОРКИЙ

...Заставить человека улыбнуться

О Волошине

Вспомнилась встреча с Максимилианом Волошиным, о котором я читала в газете, где говорится, что прошло сто лет со дня его рождения.

Было это в Крыму в голодные трудные годы времен Гражданской войны и военного коммунизма.

Мне везло на людей в долгой моей жизни, редкостно добрых, редкостно талантливых. Никого из них уже со мной нет. Сейчас моя жизнь — воспоминания об ушедших.

Все эти дни вижу Макса Волошина с его чудесной детской и какой-то извиняющейся улыбкой. Сколько в этом человеке было неповторимой прелести!

В те годы я уже была актрисой, жила в семье приютившей меня учительницы моей и друга — прекрасной актрисы и человека Павлы Леонтьевны Вульф. Я не уверена в том, что все мы выжили бы (а было нас четверо), если бы о нас не заботился Волошин.

С утра он появлялся с рюкзаком за спиной. В рюкзаке находились завернутые в газету маленькие рыбешки, называвшиеся комсой, был там и хлеб, если это месиво можно было назвать хлебом, была там и бутылочка с касторовым маслом, с трудом им раздобытым в аптеке. Рыбешек жарили в касторке, это издавало такой страшный запах, что я, от голода теряя сознание, все же бежала от этих касторовых рыбок в соседние дворы.

Помню, как он огорчался этим и искал иные возможности меня покормить. Помню его нежнейшую доброту, до сих пор согревающую меня, хотя с того времени прошло более полувека.

Не могу не думать о Волошине, когда он был привлечен к работе в художественном совете Симферопольского театра. Он порекомендовал нам пьесу «Изнанка жизни». И вот мы, актеры, голодные и холодные, так как театр в зимние месяцы не отапливался, жили в атмосфере искусства с такой великой радостью, что все трудности отступали.

Однажды, когда Волошин был у нас, к ночи началась стрельба оружейная и пулеметная. Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить, остаться у нас. Уступили ему комнату, утром он принес нам эти стихи «Красная Пасха»: «Зимою вдоль дорог валялись трупы людей и лошадей. / И стаи псов въедались им в живот и рвали мясо. / Восточный ветер выл в разбитых окнах. / А по ночам стучали пулеметы, свистя, как бич, по мясу обнаженных мужских и женских тел». Это было в Симферополе 21

апреля 1921 года. На заплаканном лице его была написана нечеловеческая мука.

Волошин был большим поэтом, чистым, добрым человеком.

Об Ахматовой

Вот что вспоминается.

Анна Андреевна лежала в Боткинской больнице (в тот период моей жизни я еще могла входить в больницу).

Часто ее навещала. Она попросила меня приехать после похорон Пастернака и рассказать ей все, что я видела. Она спрашивала, как все происходило. Горевала.

Смерть Бориса Леонидовича ее очень угнетала. Я делилась с ней моими впечатлениями и сказала, что была нестерпимая духота, что над нами, над огромной толпой, висели свинцовые тучи, и дождя не было, что гроб несли на руках до самой могилы, что Борис Леонидович во гробу был величавый, торжественный.

Анна Андреевна слушала внимательно, а потом сказала: «Я написала Борису стихи».

Запомнила не все, но вот что потрясло меня:

Здесь все принадлежит тебе по праву.
Стеной стоят дремучие дожди.
Отдай другим игрушку мира — славу.
Иди домой и ничего не жди!

Да, висели дремучие дожди, и мысли у всех нас были о славе, которая ему больше не нужна…

* * *

В Комарове она вышла проводить меня за ограду дачи, которую она звала «моя будка».

Я спешила к себе в Дом отдыха, опаздывала к ужину, она стояла у дерева, долго смотрела мне вслед.

Я все оборачивалась, она помахала рукой, позвала вернуться.

Я подбежала. Она просила меня не исчезать надолго, приходить чаще, но только во вторую половину дня, так как по утрам она работает, переводит.

Когда я пришла к ней на следующий день, она лежала. Окно было занавешено. Я подумала, что она спит.

— Нет, нет, входите, я слушаю музыку, в темноте лучше слышится.

Она любила толчею вокруг, называла скопище гостей «станция Ахматовка». Когда я заставала ее на даче в одиночестве,

она говорила: «Человека забыли!» Когда тяжко заболела Н. Ольшевская, ее близкий друг, она сказала: «Болезнь Нины — большое мое горе».

Она любила семью Ардовых и однажды в Ленинграде сказала, что собирается в Москву, домой, к своим, к Ардовым.

…В Ташкенте писала пьесу, в которой предвосхитила все, что с ней сделали в 46-м году, потом пьесу сожгла. Через много лет восстановила по памяти.

В Комарове читала мне вновь отрывки из этой пьесы, в которой я многого не понимала, не постигала ее философию, но ощущала, что это нечто гениальное. (Пьеса не была закончена. — **М. Г.**)

Она спросила, могла бы такая пьеса быть поставлена в театре?

В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая принесла мне популярность. Я об этом сказала Анне Андреевне. «Не огорчайтесь, у каждого из нас есть свой Муля!» Я спросила: «Анна Андреевна, а что у вас Муля?» Она подумала и сжала руки под темной вуалью. (Речь идет об известном стихотворении Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью…». — **М. Г.**) Я закричала: «Не кощунствуйте!»

«Вот, вам известен еще один эпизод…» — ответила она тихо.

В первый раз придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.

«Пока мне не отрубили голову, я истоплю вам печку».

«У меня нет дров», — сказала она весело.

«Я их украду!»

«Если вам это удастся — это будет мило», — ответила она.

Большой каменный саксаул не влезал в печку. Я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне платить нечем. «А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги — что, деньги — это еще не все!»

Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне. «А я сейчас встретила Платона Каратаева». — «Расскажите». — «Спасибо, спасибо», — повторяла она. Это относилось к нарубившему дрова.

У нее оказалось немного картошки. Мы ее сварили и съели. Я

никогда не встречала более кроткого человека, чем она.

В Ташкенте мы были приглашены обе к местной жительнице. Сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно.

И потом через много лет она говорила: «А вы помните, как в комнату пришел баран и как это было удивительно; почему-то я не могу забыть этот вход барана».

Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. «Оставьте, вы же знаете, что я ненавижу Фрейда», — рассердилась она.

Одно время я записывала все, что она говорила. Она это заметила, попросила показать ей мои записи. «Вы себе представить не можете, Анна Андреевна», — сказала я ей. «Мадам, вам **одиннадцать** лет и никогда не будет **двенадцать**», — ответила она и долго смеялась.

Я растапливала дома печку и по ошибке вместе с другими бумагами сожгла все, что записала, а сколько там было замечательного!..

В 46-м году я к ней приехала. Она открыла мне дверь, потом легла, тяжело дышала. Об этом мы не говорили. Через какое-то время она стала выходить на улицу и, подведя меня к газете, прикрепленной к доске, сказала: «Сегодня хорошая газета, меня не ругают». Долго молчала. «Скажите, Фаина, зачем понадобилось всем танкам проехать по грудной клетке старой женщины?» Опять помолчала. Я пригласила ее пообедать. «Хорошо, но только у вас в номере». Очевидно, боялась встретить знающих ее в лицо. В один из этих страшных ее дней спросила: «Скажите, вам жаль меня?» — «Нет», — сказала я, боясь заплакать. «Умница, меня нельзя жалеть».

Про чудесного писателя, которого, наверное, хотела видеть в числе друзей, сказала: «Знаете, о моей смерти он расскажет в придаточном предложении, извинится, что куда-то опоздал, потому что трамвай задавил Ахматову, он не мог продраться через толпу, пошел другой стороной».

Однажды сказала: «Что за мерзость антисемитизм, это для негодяев — вкусная конфета, я не понимаю, что это, бейте меня, как собаку, все равно не пойму».

Иногда она бранила меня, я огрызалась. Она говорила: «Наша фирма — „Два петуха!“».

Там, куда приходила Анна Андреевна в Ташкенте, где я жила с семьей во время войны, во дворе была громадная злая собака. Анна Андреевна боялась собак. Ее загоняли в будку. Потом при

виде Анны Андреевны собака сама пряталась по собственной инициативе. Анну Андреевну это очень забавляло. «Обратите внимание — собака при виде меня сама уходит в будку».

Она была удивительно доброй. Такой она была с людьми скромными, неустроенными. К ней прорывались все, жаждущие ее видеть, слышать. Ее просили читать, она охотно исполняла просьбы. Но если в ней появлялась отчужденность, она замолкала. Лицо, неповторимо прекрасное, делалось внезапно суровым. Я боялась, что среди слушателей окажется невежественный нахал…

Я отдыхала с Анной Андреевной в доме писателей «Голицыне». Мы сидели в лесу на пнях. К ней подошла седая женщина, она назвала себя поэтом, добавив, что пишет на еврейском языке и что ее зовут «еврейской Ахматовой». «Тогда приходите ко мне сегодня же к вечеру, дайте мне ваши стихи, и я их переведу». Они условились о встрече. (Речь идет о поэтессе Рахиль Баумволь, чьи стихи переводила А. Ахматова. — **М. Г.**)

Однажды я позвонила ей по телефону. Она была в Москве. Я сказала ей, что сегодня видела во сне Пушкина. Она крикнула в трубку: «Иду!» Примчалась на такси, чтоб услышать мой сон.

Арсения Тарковского очень любила и ценила и как человека, и как поэта. Арс. Тарковский прислал мне свою последнюю книжку стихов. Я позвонила, благодарила. Он мне сказал: «Нет Анны Андреевны, мне некому теперь читать мои стихи».

Умирая, А. Ахматова кричала: «Воздуха, воздуха!» Доктор сказала, что, когда ей в вену ввели иглу с лекарством, она уже была мертвой. Смерть Анны Андреевны — непривычное, свежее мое горе. В гробу ее не видела, вижу перед собой ее живую.

Ленинград без Ахматовой для меня поблек, не могу себя заставить съездить на ее холмик, взглянуть.

У меня в ушах ее голос, смех. В Комарове в прошлом году я бежала к ней, она, увидев меня из окна, протягивала руки и говорила: «Дайте мне Раневскую!»

Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь вы дружили. Отвечаю: «Не пишу, потому что очень люблю ее!»

Я никогда не обращалась к ней на «ты». Мы много лет дружили, но я просто не могла бы обратиться к ней так фамильярно.

Она была великой во всем. Я видела ее кроткой, мягкой, заботливой. И это в то время, когда ее терзали.

Из переписки

Раневская писала своим близким и друзьям под копирку, поэтому многие письма сохранились в ее архиве.

Ахматовой А. А. (написано под диктовку) 28.VIII.45 г.

Спасибо, дорогая, за Вашу заботу и внимание и за поздравление, которое пришло на третий день после операции, точно в день моего рождения, в понедельник.

Несмотря на то что я нахожусь в лучшей больнице Союза, я все же побывала в дантовом аду, подробности которого давно известны. Вот что значит операция в мои годы со слабым сердцем. На вторые сутки было совсем плохо, и вероятнее всего, что если бы я была в другой больнице, то уже не могла бы диктовать это письмо.

Опухоль мне удалили, профессор Очкин предполагает, что она была незлокачественная, но сейчас она находится на исследовании.

В ночь перед операцией у меня долго сидел Качалов В. И., мы говорили о Вас.

Я очень терзаюсь кашлем, вызванным наркозом, глубоко кашлять с разрезанным животом — непередаваемая пытка. Поклонитесь моим подругам.

У меня больше нет сил диктовать. Дайте им прочитать мое письмо. Сестра, которая пишет под мою диктовку, очень хорошо за мной ухаживает и помогает мне. Я просила Таню Тэсс Вам дать знать результат операции.

Обнимаю Вас крепко и благодарю.

Мой адрес: улица Грановского, Кремлевская больница, хирургическое отделение, палата 52.

Ваша Фаина (рукой Раневской).

Об Абдулове

Тяжело мне писать об Осипе Наумовиче Абдулове, потому что очень я его любила. Тоскую и скучаю по нем по сей день. За многие годы жизни в театре ни к кому из актеров не была так привязана.

Это был актер редкостного дарования и необыкновенной заразительности. Играть с ним было для меня наслаждением.

Осип Наумович уговорил меня выступать с ним на эстраде. С этой целью мы инсценировали рассказ Чехова «Драма». Это наше совместное выступление в концертах пользовалось большим успехом. Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров.

Когда не стало Осипа Наумовича, я через некоторое время начала играть с другими партнерами, но вскоре прекратила выступать в этой роли. Успеха больше не было. И все роли, в которых прежде играл Осип Наумович, в исполнении других актеров проходили незамеченными.

Зрители знали и любили Осипа Наумовича Абдулова по театру, кино, эстраде. Мне посчастливилось часто видеть его в домашней обстановке. Обаяние его личности покоряло меня. Он любил шутку. Шутил непринужденно, легко, не стараясь рассмешить.

За долгую мою жизнь я не помню никого, кто мог бы без малейшего усилия шуткой привести в радостное, хорошее настроение опечаленного друга.

Как актер он обладал громадным чувством национального характера. Когда он играл серба, был подлинным сербом («Министерша»), подлинный англичанин — «Ученик дьявола», подлинный француз — «Школа неплательщиков», подлинный грек — «Свадьба» Чехова.

Я часто сердилась на Осипа Наумовича за то, что он непосильно много работает, не щадя себя. Он объяснял мне свою кипучую деятельность потребностью постоянного общения со зрителем. Он на все мои нападки неизменно отвечал: «В этом смысл моей жизни».

Однажды после окончания ночной съемки в фильме «Свадьба» Чехова, где он чудесно играл Грека, нам объявили, что машины не будет и что нам придется добираться пешком домой. Осип Наумович сердился, протестовал, долго объяснялся с администратором, но, тут же успокоившись, решил отправиться домой, как был в гриме: с черными усами и бровями, в черном парике и турецкой феске.

По дороге он рассказывал мне какую-то историю от лица своего Грека на языке, тут же им придуманном, свирепо вращал глазами и отчаянно жестикулировал, невероятно пугая идущих на рынок домашних хозяек.

Это была не только озорная шутка, это было творчество, неуемный темперамент, щедрость истинного таланта.

Наша прогулка продолжалась бы дольше, если бы изумленный нашим видом милиционер категорически не потребовал, чтобы мы немедленно шли домой!

О Таирове и Коонен

Мне посчастливилось быть на спектакле «Сакунтала», которым открывался Камерный театр. Это было более полувека тому назад, но это ослепительное зрелище, солнечное, праздничное, видится и помнится мне по сей день. Роль Сакунталы исполняла пленительная, вдохновенная Алиса Коонен.

С тех пор, приезжая в Москву (я в то время была провинциальной актрисой), неизменно преданная Камерному театру, я пересмотрела почти все его спектакли. Все это было тоже празднично, необычно, все восхищало, и мне захотелось работать с таким мастером, в таком особом театре. Я отважилась об этом написать Александру Яковлевичу, впрочем не надеясь на успех моей просьбы.

Он ответил мне любезным письмом, сожалея о том, что в предстоящем репертуаре для меня нет работы. А через некоторое время он предложил мне дебют в пьесе украинского драматурга Кулиша «Патетическая соната». В спектакле должна была играть А. Г. Коонен. Это налагало особую ответственность и очень меня пугало.

Дебют в Москве! Как это радостно и как страшно! Я боялась взыскательных столичных зрителей, боялась того, что роль мне может не удастся.

В то время Камерный театр только что возвратился из триумфальной поездки по городам Европы и Латинской Америки, и я ощущала себя убогой провинциалкой среди моих новых товарищей. А когда появились конструкции и мне пришлось репетировать на большой высоте, почти у колосников, я чуть не потеряла дара речи, так как страдаю боязнью пространства. Я была растеряна.

Александр Яковлевич, внимательно следивший за мной, увидел мою растерянность, почувствовал мое отчаяние и решил прибегнуть к особому педагогическому приему. Стоя у рампы, он кричал мне: «Молодец! Молодец, Раневская! Так!.. Так… Хорошо! Правильно! Умница!»

И, обращаясь к моим партнерам на сцене и сидевшим в зале актерам, сказал: «Смотрите, как она умеет работать! Как нашла в роли то, что нужно. Молодец, Раневская!»

А я тогда еще ничего не нашла, но эти слова Таирова помогли мне преодолеть чувство неуверенности в себе. Вот если бы Таиров закричал мне тогда «не верю» — я бы повернулась и ушла со сцены навсегда!

В день премьеры, прошедшей с большим успехом, я не смогла

(просто не решилась — было страшно) спуститься «на поклоны» с моей верхотуры и кланялась, стоя наверху, под колосниками. Когда занавес закрылся и аплодисменты стихли, я увидела, что Александр Яковлевич, запыхавшись, быстро, хотя и с трудом поднимается по узкой, шаткой лестнице ко мне. Взволнованный, он обнял, поздравил, похвалил меня и почти на руках спустил меня вниз.

Вспоминая Таирова, мне хотелось сказать о том, что Александр Яковлевич был не только большим художником, что хорошо известно и у нас, и за рубежом, но еще и Человеком большого доброго сердца. Чувство благодарности за его желание мне помочь я пронесла через всю жизнь.

Помнится мне еще одна встреча с ним. Это было уже в другое время — трудное время войны. Я тогда работала в другом театре, но с Александром Яковлевичем и Алисой Георгиевной дружила крепко и часто бывала у них. Однажды, провожая меня через коридор верхнего этажа мимо артистических уборных, Александр Яковлевич вдруг остановился и, взяв меня за руку, сказал с горькой усмешкой: «Знаете, дорогая, похоже, что театр кончился: в театре пахнет борщом».

…Вскоре после закрытия театра Алиса сказала: «Фаина, если бы был жив Станиславский, неужели я бы осталась без театра?» Она сдерживала слезы, говоря это. Я умоляла Завадского пригласить Алису, он решительно отказал. Таиров был уже смертельно болен.

Не могу без содрогания вспомнить их прелестный дом, в котором я бывала раньше, и разрушение его после смерти Алисы. Распродажу вещей, суету вокруг вещей. Гадко и страшно мне было.

О Марецкой

С Верой Петровной Марецкой меня связывала многолетняя дружба. Я очень любила ее редкостное дарование, ее человеческую прелесть, юмор, озорство. Все было в ней гармонично и пленительно.

Впервые я увидела ее в фильме «Закройщик из Торжка». Это было давно, но мне по сию пору видится удивленное лицо девушки, держащей в руках гуся. Она с любопытством рассматривала незнакомую ей улицу. Все ее удивляет, забавляет. Я тогда же подумала с радостью о том, что у нас появилась молодая актриса редкостного таланта.

Увидев знакомого кинорежиссера, спросила, что это за прелесть с гусем, кто она. И впервые услышала ставшее дорогим всем нам имя Веры Петровны Марецкой.

Мне вспоминается ее роль француженки в пьесе «Школа неплательщиков», где была она подлинной француженкой, столько было в ней прелести, изящества, столько пленительного.

Прошли десятилетия, а я вижу ее сейчас в этой роли. Кажется, Гейне говорил: «Актер умирает дважды». Теперь это не так благодаря кино и телевидению.

С Верой Петровной я никогда не скучала, с ней было весело и любопытно. Она относилась ко мне тоже сердечно и заботливо. Она называла меня «Глыба!».

Из переписки С.М. Михоэлсу (1944 г.)

Дорогой, любимый Соломон Михайлович!

Очень огорчает Ваше нездоровье. Всем сердцем хочу, чтобы Вы скорее оправились от болезни мне знакомой…

Тяжело бывает, когда приходится беспокоить такого занятого человека, как Вы, но Ваше великодушие и человечность побуждают в подобных случаях обращаться именно к Вам.

Текст обращения, данный Я. Л. Леонтьевым, отдала Вашему секретарю, но я не уверена, что это именно тот текст, который нужен, чтобы пронять бездушного и малокультурного адресата!

Хочется, чтобы такая достойная женщина, как Елена Сергеевна (вдова М. А. Булгакова. — **М. Г.**), не испытала лишнего унижения в виде отказа в получении того, что имеют вдовы писателей меньшего масштаба, чем Булгаков.

Может быть, Вы найдете нужным перередактировать текст обращения. Нужна подпись Ваша, Маршака, Толстого, Москвина, Качалова.

Мечтаю о дне, когда смогу Вас увидеть, услышать, хотя и боюсь Вам докучать моей любовью.

Обнимаю Вас и милую Анастасию Павловну.

Душевно Ваша Раневская

Письмо Потоцкой А.П. 1965 г. (письма не послала)

Дорогая Анастасия Павловна!

Мне захотелось отдать Вам то, что я записала и что собиралась сказать в ВТО на вечере в связи с 75-летием Соломона Михайловича.

Волнение и глупая застенчивость помешали мне выступить. И сейчас мне очень жаль, что я не сказала, хотя и без меня было сказано, о Соломоне Михайловиче много нужного и хорошего для тех, кому не выпало счастья видеть его и слушать его.

В театре, который теперь носит имя Маяковского, мне довелось играть роль в пьесе Файко «Капитан Костров», роль, как я теперь вспоминаю, я обычно играла без особого удовольствия, но когда мне сказали, что в театре Соломон Михайлович, я похолодела от страха, я все перезабыла, я думала только о том, что Великий Мастер, актер-мыслитель, наша совесть — Соломон Михайлович смотрит на меня.

Придя домой, я вспоминала с отчаянием, с тоской все сцены, где я особенно плохо играла.

В 2 часа ночи зазвонил телефон. Соломон Михайлович извинился за поздний звонок и сказал: «Ведь вы все равно не спите и, наверное, мучаетесь недовольством собой, а я мучаюсь из-за вас. Перестаньте терзать себя, вы совсем неплохо играли, поверьте мне, дорогая, совсем неплохо. Ложитесь спать и спите спокойно — совсем неплохо играли».

А я подумала, какое это имеет значение — провалила ли я роль или нет, если рядом добрый друг, человек — Михоэлс.

Я перебираю в памяти всех людей театра, с которыми сталкивала меня жизнь, нет, никто так больше и никогда так не поступал. Его скромная жизнь с одним непрерывно гудящим лифтом за стеной.

Он сказал мне, знаете, я получил письмо с угрозой меня убить. Герцен говорил, что частная жизнь сочинителя есть драгоценный комендант к его сочинениям. Когда я думаю о Соломоне Михайловиче, мне неизменно приходит на ум это точное определение, которое можно отнести к любому художнику. Его

жилище — одна комната, без солнца, за стеной гудит лифт денно и нощно.

Я спросила Соломона Михайловича, не мешает ли ему гудящий лифт. Смысл его ответа был в том, что это самое меньшее зло в жизни человека.

Я навестила его, когда он вернулся из Америки. Он был нездоров, лежал в постели, рассказывал о прочитанных документах с изложением зверств фашистских чудовищ.

Он был озабочен, печален. Я спросила о Чаплине. «Чаплина в Америке затравили», — сказал Соломон Михайлович. В одном из баров ему, Соломону Михайловичу, предложили выпить коктейль под названием «Чаплин». Коктейль оказался пеной. Даже так мстили Чаплину за его антифашистские выступления.

Я спросила Соломона Михайловича, что он привез из Америки? «Жене привез подопытных мышей для научной работы». А себе? «А себе кепку, в которой уехал…»

Моя обожаемая Верико!

С этой запиской посылаю Вам крепкую и нежную любовь, мое восхищение Вами и мою… просьбу!

Зная Вашу занятость и усталость, мне тяжело беспокоить Вас. Но один мой добрый друг просил меня обратиться к Вам с просьбой его принять. Я не могла ему отказать, потому что он очень мне предан, к тому же он человек хороший. Он — ваш земляк. Я заранее Вас благодарю, человек этот заслужил внимания.

Моя любимая Верико, о себе говорить нет охоты. Живется трудно, одиноко, до полного отчаяния.

Если Мэри еще у Вас, обнимаю ее крепко, как и Вас, моя обожаемая Верико.

Сердечный привет Софико. Ваша преданнейшая вам Раневская.

Теперь, перед концом, я так остро почувствовала смысл этих слов: «Суета сует и всяческая суета».

Смотрю в окно, ремонтируют старый «доходный дом», работают девушки, тяжести носят на себе, ведра с цементом. Мужчины покуривают, наблюдают за работой девушек, почти девочек. Две появились у меня на балконе, краска душит, мучаюсь астмой. Дала девочкам сластей. Девочки спрашивают: «Почему вы нас угощаете?» Отвечаю: «Потому, что я не богата». Девочки поняли, засмеялись.

Весна 80-го г.

Публикация, предисловие и комментарии — **Мих. ГОЛЬДЕНБЕРГ, кандидат искусствоведения.**

Марина Неелова: Спешите делать добро

Я открыла свою старую тетрадку и переписала оттуда почти все, что записано мной сразу после встреч с Фаиной Георгиевной Раневской. Это память, а память, как мне кажется, не нуждается в шлифовке.

Сегодня разговаривала с Фаиной Георгиевной Раневской — комок в горле, до сих пор не могу прийти в себя от нее, уже будто «уходящей» и говорившей, что ей уже пора, что «все позади» и в этом «позади» так мало хорошего! А какой при этом светлый ум, так остро воспринимающий все окружающее, так точно все характеризующий, добрый и нежный! Почему раньше не была с ней знакома, как много она могла бы мне дать, как давно я хотела этого, сколько времени пропущено, — дай бог ей здоровья, а нам радости общения с ней! Может быть, это разговор с ней не дает мне сейчас спать, и мучаюсь ее старостью, ее болями, ее одиночеством, и боюсь, так боюсь за нее, как могла бы только за очень мне близкого человека, которого очень давно знаю. Дай ей бог!

* * *

Как хочется что-то сделать для нее, чем-то порадовать, побыть с ней, никуда не торопясь, посидеть на диване под фотографиями, — «это самое дорогое, что у меня есть». И это понятно: Ахматова, Пастернак, Шостакович, Цветаева, Уланова — вся стена увешана этими фотографиями с дарственными надписями, фотографии приколоты к обоям иголками для внутривенных уколов, и в углу около кресла под торшером — фотографии собак, которых так любила Фаина Георгиевна. Позже, когда Фаина Георгиевна попросила меня принести свою фотографию, я, понимая, что не могу претендовать на эту «стену», попросила повесить мою среди собак, и надо сказать, выглядела там вполне органично.

Удивительно сочетается в этом человеке множество почти несоединимых черт: необычайная эмоциональность и трезвый острый ум, поразительные оценки, точные, подчас желчные характеристики и невероятная наивность, нежность, мудрость, кокетство, детскость, откровенность (о себе и других), жестокость и удивительная обидчивость, мнительность, ранимость, часто

безапелляционность — и вдруг боязнь обидеть, огорчить, бессребреность и доброта душевная! Такое чувство, что я старше ее и обязана оберегать.

* * *

«Паспорт человека — это его несчастье, ибо человеку всегда должно быть 18 лет, а паспорт лишь напоминает, что ты не можешь жить, как 18-летний человек!»

Много говорили о Цветаевой. Фаина Георгиевна подарила мне очень дорогую для нее и для меня книгу с надписью: «Марине — Марину с любовью к обеим». Читаю ее сейчас, читала и до, но теперь читаю со взглядом и через Фаину Георгиевну.

Фаина Георгиевна! Фаина Георгиевна! — всегда открытая дверь — заходите — собака Мальчик, ласкательно Маня — самое близкое существо — «если его не станет, я умру», — Мальчик, живи вечно!

Цветы в почти пустой квартире, пустой холодильник (все продукты отданы кому-то, «а мне все равно ничего нельзя», пакеты с пшеном на подоконнике — для птиц и птичек (предпочитаются воробьи), книги, книги, книги — везде, на столе и на столике, в постели, на стуле, на диване, — книги, которые еще не раздарены и не украдены (дверь же открыта — бери, что видишь), — Томас Манн и Даррелл, Диккенс, конечно; Пушкин, книги на французском языке рядом с альбомом про собак, «Новый мир» и газеты, очки, и на всех обрывках листков, на газетных белых полях, на коробках — записанные, зафиксированные, а эту секунду пришедшие мысли или воспоминания, а иногда и несогласие с кем-то.

«Фаина Георгиевна, почему вы не написали или не пишете книгу про все: про вас, про всех, кого вы знали, любили, видели?» И — ответ: «Написала, прочла — и (шутя, как всегда) поняла, что Толстой писал лучше, и из самолюбия разорвала все написанное». Хоть бы это была ее фантазия, хоть бы не разорвала! Сидим, говорим про Цветаеву (вернее, я задаю вопросы, а говорит Фаина Георгиевна), про Ахматову, про то, что, долго читая Цветаеву, устает, а потом «отдыхает» на Ахматовой, что Анна Андреевна человечнее и понятнее, что Марина Цветаева — гений и всегда не здесь, даже слушая, смотрит «насквозь, куда-то в свое», что невероятно умна, своеобразна, одна такая и не как все.

А я смотрю, слушаю Фаину Георгиевну и думаю, что ей и правда восемнадцать лет, — я старше, но глупее. После общения с ней как будто надышалась кислородом и немного кружится

голова. После подобных встреч очень трудно становится общаться с кем-то, переоценка и заниженность их — совершенно другой мозговой и сердечный уровень.

«Не могу сейчас ни с кем общаться, не хочу никого видеть — все только про что где достать — никакой души».

«Моя собака живет, как Сара Бернар, а я как сенбернар». И правда: и собака, и цветы, и птицы не одиноки так, как она, страшное слово — одиночество, — произнесенное ею без желания вызвать сострадание, а так, скорее констатация — «девочка, если бы вы знали, как я одинока». И сердце сжимается, когда это слышишь именно от нее, от человека, любимого всеми.

Пушкин. «Пушкин не человек, это планета».

«Не сплю, сон покинул меня, страшная бессонница, думаю, страдаю, вспоминаю все ночами, жизнь прошла, а я не сыграла своей роли!»

Сидит в кресле, днем, с зажженным торшером, читает, читает без конца, беспокоится о Мальчике, кормит птиц, почти ничего не ест, глаза мудрого ребенка, теплые и чуть-чуть ироничные, грустные и улыбающиеся, вдруг… и вдруг озаренные каким-то воспоминанием или внезапно пришедшей в голову шуткой, и сама уже та-ак заразительно смеется, глядя на смеющуюся меня.

Приезжаю от нее домой. Звонок — Фаина Георгиевна: «Как вы доехали, я беспокоилась». Я: «Не успела позвонить». А она успела. Вся в этом. Жажда и потребность любить, ждать, быть нужной.

* * *

— Фаина Георгиевна, вы верите в бога?

— Я верю в бога, который есть в каждом человеке. Когда я совершаю хороший поступок, я думаю, это дело рук божьих.

Звонит мне утром, и я, не проснувшаяся, — басом:

— Фаина Георгиевна, можно я вам перезвоню чуть позже?

Перезваниваю.

— Деточка, что с вашим голосом? Вы пили всю ночь?!

— Я не пью, Фаина Георгиевна.

— Спасибо.

— ?!?!?!

— Боюсь за вас, только не пейте!

— ?!?!

— Я так испугалась вашего голоса, я боюсь, что после спектакля вы идете в ресторан и гуляете!

— Фаина Георгиевна, дорогая, это невозможно, я в рестораны не хожу вообще, не люблю этого, и это может для меня быть

только как наказание.

— Спасибо, деточка, не растрачивайте себя впустую, прошу вас.

Милая Фаина Георгиевна, нежный человек, с нерастраченной любовью, вернее, с запасами ее неиссякаемыми!

— И снимайтесь реже в кино: когда мне снится кошмар — это значит, я во сне снимаюсь в кино. И вообще, сейчас все считают, что могут быть артистами только потому уже, что у них есть голосовые связки. — Читает на обороте книжки чье-то изречение: — «Искусство — половина святости». Нет, я бы сказала иначе: искусство — свято.

* * *

Была у Фаины Георгиевны, провела с ней день: завтракали, обедали, говорили и даже играли: нечто вроде ее импровизации и моего подыгрыша. Пригласила ее на спектакль «Спешите делать добро».

— Деточка, я почти не выхожу из дома, и к тому же я не могу оставить Мальчика одного: он скучает.

— Тогда можно я вам здесь все сыграю?

Господи, как же хорошо для нее играть! Сидим на кухне, она в бывшем французском халате (ему сто лет, вижу, что одет на левую сторону, но не по ошибке, а из каких-то соображений, цвет мой любимый — фиолетово-сиреневый), извиняется, что в таком халатном виде, я говорю, что ей он идет, и тут же в ответ:

— Деточка, что мне сейчас идет, кроме гробовой доски?! А вы знаете, что он одет у меня на левую сторону?!

— Знаю.

— Откуда?

— У вас карман внутри.

— Правильно!!!

И хохочет так восторженно, как будто я только что родила какую-то невероятную шутку!

Боже мой, как я счастлива, когда стою у плиты в этой ее кухне, вижу, а скорее, чувствую, как она смотрит на меня, играющую монологом весь спектакль, «Спешите…», как потом она молчит, а я и не жду слов — мне ее слезы и ее молчание дороже множества похвал: быть *таким* зрителем — это особый талант, это еще один особый дар, который у нее есть.

— А вы знаете, что мне говорила Ахматова? «Милуша, вам только одиннадцать лет и никогда не будет двенадцать, и не надейтесь и не расстраивайтесь: Бореньке (Пастернаку) всего

четыре».

А старость — это просто свинство, я считаю, что это невежество бога, что он позволил доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я все живу, Бирман, и та умерла, а уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!

— Деточка, снимите шапочку!

— Я без шапки, это мои волосы.

— Боже! Такое маленькое личико и так много волос, личико — как куриный пупик, нет, даже воробьиный, тогда выстригите немного волос, а потом — такой лоб, его нельзя скрывать, им нужно гордиться.

Потом вдруг лицо становится незнакомым и — со страшным украинским говором: «Ну, погадай, выйду я взамуж или нет, ну, у меня же ж и деньги имеются, а то взамуж страх как хочется, я ж заплачу…»

* * *

На той, подаренной мне Фаиной Георгиевной книжке на первом листке рукой Фаины Георгиевны написано: «Вспомнилась молодая Марина, а потом постаревшая, усталая, вернулась из Парижа, другая Марина, постарше, но Марина. Я плакала, Марина утешала, потом война, я увезла близких в Ташкент, Марину все бросили, Марина удавилась в Елабуге. Моя всегдашняя мука Марина».

Прошу рассказать про их встречу. Рассказывает, будто это было вчера.

— Вхожу в дом, где обещали встречу с Мариной. Где же она?! За столом пожилая, седая женщина сидит, закрыв лицо руками. Где Марина Цветаева?

— Я Марина Цветаева. Как воспитанный человек, делаю вид, что узнала.

Не узнаю совсем. Изменилась.

— Вы меня не узнаете, Марина? Делая вид, что узнала:

— Узнаю.

— Я Фаина Раневская.

— Господи!

Стоим, плачем, обнявшись посередине комнаты. Получила деньги, тогда — 5000 рублей, зарплата.

Еду к Цветаевой, говорю, получила деньги, хочу

поделиться, — расцвела.

Пачка в сумке, в банковской упаковке, рукой незаметно пытаюсь ее разорвать, чтобы поделить пополам, она не поняла (не заметила? — слава богу!) и взяла всю пачку.

— Фаина, спасибо, я знала, что вы добрая!

Стою замерев: не знаю, что делать, что принесу домой, на что будем жить целый месяц всей семьей, что скажу? Продаю свое колечко и прихожу домой с зарплатой.

Какое счастье, что я тогда не успела поделить пополам, что отдала все! После ее смерти на душе чувство страшной вины за то, что случилось в Елабуге!

* * *

Девятнадцатое июля. Вот и все… Уже никогда больше не пойду к Фаине Георгиевне Раневской. Выла сегодня, и это был последний раз, хотя каждый раз, уходя от нее, боялась, что это последний. «Вы можете пойти к ней в четверг или субботу, она обрадовалась, узнав, что вы придете». Еду страшась: вдруг сегодня действительно не узнает, вдруг нельзя будет видеть?

Пожатие, как ни странно в таком состоянии и положении, крепкое и приятное. Стою, глажу ее руку, а другая — в рукопожатии — неотпускаемом. Иногда, в середине фразы, как будто находит забытье, кажется, что, устав, она заснула, но вдруг, сразу, без «просыпания», продолжение разговора;

— Что у вас в театре?

— «Вирджиния Вульф».

— Как хорошо, что где-то репетируются хорошие пьесы.

Собирается консилиум, решают делать операцию. Оторвался тромб. Фаина Георгиевна:

— Нет, не хочу.

— Это чтобы вы встали быстрее на ноги и не хромали.

— А вы что, думаете, что я собираюсь играть «Даму с камелиями»? Нет, не собираюсь.

Врачи просят не утомлять.

Мне пора ехать на спектакль «Спешите делать добро». Иду прощаться. Целую руки, лоб, щеку.

— Благослови вас господь, девочка, будьте счастливы!

А в 10.30 Фаины Георгиевны уже нет. Она без нас, а мы остались без нее! Потеря!

А Мальчик, слышавший столько стихов на французском языке («Мой Мальчик знает всю французскую поэзию»), Мальчик, за которого так боялась Фаина Георгиевна, — жив!

* * *

Сегодня 40 дней со дня смерти Фаины Георгиевны.

Поразительное явление Фаина Георгиевна: каждый из нас настолько точно знает, чего бы она не допустила, будь она с нами, что даже понятие поминки приобретает совершенно другой знак. Все стали вспоминать какие-то истории, связанные с Фаиной Георгиевной, ее рассказы, ее фантазии, шутки и про книгу Фаины Георгиевны, которая так никогда и не была написана, вернее, была разорвана: «Я не хочу, чтобы кто-то читал мою жизнь!» Жаль, она замечательно писала, а впрочем, все, за что она бралась, было талантливо, Фаина Георгиевна однажды ни с того ни с сего купила школьную акварель и стала рисовать, и замечательно! Кто-то даже пришел к мнению, что это ранний Ван Гог, но по крайней мере все утверждают, если не могут назвать точную фамилию, это… это рука профессионала: «За это ручаемся».

А сколько забавных мордочек в ее настольной тетради-календаре: так рисуют дети или очень талантливые взрослые; характеры, взгляды, реакции, образы — все глазами Фаины Георгиевны, некоторые с подписями, некоторые зачеркнуты ею же! Не хотела, чтобы потом прочитал кто-то посторонний. На одной странице жестокая характеристика одного режиссера: «Он великий человек, он один вместил в себя сразу Ноздрева, Собакевича, Коробочку, Плюшкина — от него исходит смрад».

Я все время вспоминаю одну ее фразу, сказанную однажды и не привязанную ни к какому конкретному разговору: «У меня хватило ума так глупо прожить жизнь».

Актер весь в судьбе героя

Настоящего интервью не получилось. На некоторые вопросы Фаина Георгиевна Раневская захотела ответить письменно — и ответила; некоторые ее не заинтересовали, но главная «помеха» была в том, что она постоянно отвлекалась. Вернее, увлекалась, если разговор вдруг касался того, что было ей интересно или дорого. Была непредсказуема — как на сцене, где никогда нельзя угадать ход ее роли, настолько каждый раз он кажется новым и неожиданным. Даже в фильмах кажется, где, как известно, все закреплено на пленку раз и навсегда. И все-таки все, да не все. Недавно по ТВ в честь юбилея Эраста Гарина шла «Свадьба», и сколько же эпизодов этой старой картины вызывали радостное любопытство! Совсем новое — будто никогда раньше их не доводилось смотреть.

О «Свадьбе» речь зашла, и Раневская сказала, что «ни разу не улыбнулась, когда читала пьесу. „Свадьба“ — личная трагедия Чехова: он страдал, встречая пошлость и мещанство». Тому, что Раневская не улыбнулась, можно поверить, глядя, как она играет: с какой брезгливостью, с каким остервенением. Даже улыбка ее героиня — и та ядовита, и льстит она противно, а уж скандалит!.. Нет, скандалит артистически и с размахом — тут ее стихия, и стихии актриса не укрощает. Не только в этой роли — вообще не укрощает и находит ее в любом человеке, прекрасном или ничтожном. Проходных, незначащих состояний души она не берет; берет пределы и свое отношение тоже выражает с предельной откровенностью. Не оттого ли все ее люди запоминаются, а роли кажутся большими даже тогда, когда занимают минимум времени?

Тут, пожалуй, одна из отгадок вопроса, который мысленно себе иногда задаешь: отчего актриса Раневская так любима? Не популярна — у популярности другая стойкость, но чтима? В кино она давно не снимается, на телеэкране показывается редко (разве что в одной-двух старых передачах), и много ли народу имеет возможность увидеть ее в театре, но поди ж ты! Пишут и пишут, и письма серьезные, откровенные, не одноразовые. На все она старается ответить, и это вызывает желание снова написать, чем-то за внимание и просто за самый факт ее существования отблагодарить.

Есть немало вещественных — неожиданных и трогательных — доказательств этого желания. Мы имеем в виду фотографии, которые Раневской присылают и у которых один сюжет: собаки. Не знаем, каким путем стало известно, что она любит животных,

но секрет перестал быть секретом, и симпатичные морды четвероногих во множестве украшают стены ее комнаты.

Вот уж поистине стены, которые не молчат! Даже если не знать, к кому попал в гости, они откроют, как тебе повезло. Увидишь фотографию Д. Д. Шостаковича и прочтешь: «Фаине Георгиевне Раневской — с глубоким восхищением»; Б. Л. Пастернак напишет: «Самому искусству — Раневской», и будут фотографии В. И. Качалова с нежными надписями, и М. И. Бабановой, и В. Анджапаридзе, и совсем молоденькой А. Г. Коонен и многих других, столь же славных. Фотографии А. А. Ахматовой датированы разными годами, но слово «друг» на всех будет неизменным.

— Как вы познакомились, Фаина Георгиевна? Когда?

— Очень давно. Я тогда еще жила в Таганроге, прочла ее стихи и поехала в Петербург — знакомиться. Долго гуляла около дома, потом долго стояла около двери, наконец, позвонила, и открыла мне сама Анна Андреевна. Помню весь ее облик: она была нездорова и вышла в длинном темном халате. Я, кажется, сказала: «Вы — мой поэт» — и извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты — и дарила меня дружбой до конца своих дней.

Портрет С. Рихтера с надписью «Великой Фаине с любовью» вызвал реплику: «Я не ждала этого подарка, но когда получила — начала в себя верить». Тема веры и неверия в свои силы возникала в наших разговорах не раз. Мне было трудно представить, что можно до такой степени быть недовольной собой, а Раневской трудно вообразить, что это вызывает чье-то недоумение. Как-то она вполне серьезно сказала: «Разве я большой талант? Среднее дарование», а потом, отвечая на вопрос о психологии актера, как бы подтвердила сказанное, сославшись при этом не на себя, а на В. И. Качалова.

— Судьба одарила меня дружбой Василия Ивановича. Он нисколько не был в себя влюблен и сердился, что я не говорила ему «ты». «Я что, такой старый?» «Не старый, а великий, великому не скажешь „ты“». — «Фаина, зачем ты повторяешь эту глупость?»

— Он был искренен? (Спрашиваю для проформы: по воспоминаниям многих знаю, что было так.)

— Он был чист, как младенец. И необыкновенно добр. Помогал людям и не хотел, чтобы знали, от кого пришла помощь. Однажды я была его курьером: отнесла большую сумму старому актеру, с которым Качалов начинал в Казани.

Талант — не радость; счастлива посредственность — она всегда довольна собой. Я была знакома с дочерью М. Н. Ермоловой, и она мне рассказывала, что после очередного

триумфа Мария Николаевна могла не спать всю ночь, оттого что думала, что накануне плохо играла.

— Извините за фамильярность, но вы, Фаина Георгиевна, самоед.

— Я видела таких прекрасных актеров. Я могу сравнивать.

На той же красноречивой стене — портрет Станиславского в роли генерала Крутицкого в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Под портретом рукой Раневской написано: «До смертного часа буду помнить и потрясаться этим его Крутицким».

— Вы ценили Станиславского-актера?

— На сцене он был бог. Ни с кем его не сравниваю. Даже с Качаловым, даже с Михаилом Чеховым. И Лилина была великолепной актрисой: изящной, женственной, красивой, умной.

Фотография Лилиной в доме конечно же есть — в роли Хромоножки из «Бесов», и в моем блокноте есть парадоксальное, но чрезвычайно «раневское» утверждение: «Только вот Станиславский ходу ей не давал». (Напомню, что Станиславский был мужем М. П. Лилиной, но был к ней строг так же, как к остальным «художественникам».)

— Можно научиться быть актером?

— Научиться нельзя. Можно развить свое дарование, научиться говорить, изъясняться, но потрясать — нет. Для этого надо родиться с природой актера, в которой главное — вера. До выхода на сцену я — Раневская, на сцене — человек, жизнью которого живу. Не понимаю и не люблю слова «играть»: актер весь в судьбе героя.

Думаю, что я застенчива; правда, в молодости была понахальнее. На сцене же стеснительность меня оставляет: она есть до и после спектакля.

— Забываетесь вы в роли?

— Сумасшедшие только забываются: забудешься — и парик с себя сорвешь. Состояние двойственное, если говорить серьезно. Забываю себя, но и неотлучно слежу за собой, чтобы не «соскочить» с главного.

— Как же совместить импровизацию с самоконтролем?

— Я знаю, кого буду играть, а как — не знаю. Нужна основа, нужна задача — тогда можно импровизировать. Немыслимо одинаково сыграть даже десять спектаклей, не то что сто.

— Тяжелая профессия?

— Ужасная. Ни с чем не сравнимая. Вечное недовольство собой — смолоду и даже тогда, когда приходит успех. Не оставляет мысль: а вдруг зритель хлопает из вежливости или оттого, что мало понимает?

— А если не быть актрисой — кем быть?

— Археологом. (Ответ последовал незамедлительно.) Только археологом.

— Почему?

— Очень интересно знать, что создавали люди тысячу лет назад. В этом открывается большой смысл: в памяти, которая не исчезает и которую одни сохраняют для других. Прошедшее меня волнует.

Нередко бывает так: вам что-то про себя говорят, но слова существуют отдельно, а человек — отдельно. С Раневской — наоборот: все сказанное подтверждается тут же, словно подстроено. Вот и сейчас: сидим около стола, а на столе открытый том «Переписка Пушкина» и рядом второй. Тут же Маяковский, сборник Поля Элюара на французском языке и «Легенда о докторе Фаусте». Последняя — из серии «Памятники мировой литературы».

Если в этом доме что-то и есть, то книги, читанные книги. На полках они стоят не шеренгой, не чинно, на большом круглом столе сгрудились во множестве, вперемежку с альбомами по искусству, и вообще — стоит только появиться чему-то значительному из мемуаров, литературных изысканий, публикаций, как книжка эта рано или поздно очутится у Раневской.

— Фаина Георгиевна, отчего вы сами не пишете? Вы столько знаете, стольких видели… (Задаю вопрос неспроста: афоризмы Раневской в театральном и не только театральном мире более чем известны, и меткие словечки известны, и написанные ею не от своего лица шуточные письма — литература, так отчего же не писать?)

— Театральное общество просило меня об этом, я начала, но все написанное порвала. Не могу рассказывать о себе. О других — не имею права, не знаю, как бы они к этому отнеслись. Кроме того, о многих прекрасных актерах, которых я знала, написано до меня. Когда же обо мне кто-нибудь пишет, это волнует. Делается и приятно, и тревожно: как-то я прочла о себе в одном журнале, но это была я и не я.

— В актерской жизни нужно везенье?

— Необходимо. Больше чем в любой другой. Актер зависим, выбирать роли ему не дано. Я сыграла сотую долю того, что могла бы.

— Есть роли, к которым вы относитесь по-особому?

— Я не придаю большого значения тому, что сделала в театре и кино. Люблю играть эпизод — он в состоянии выразить больше, нежели иная многословная роль. Два моих самых любимых

эпизода по характеру противоположны. Я имею в виду спекулянтку из «Шторма» и тапершу из фильма об Александре Пархоменко. «Нет маленьких ролей — есть маленькие актеры» — это сказано удивительно точно.

— Каков путь к роли? Разный в разных случаях или в подходе есть общее? И что служит «материалом» образа?

— Материалом служит и свое, и чужое. Черты роли беру от всех окружающих — знакомых, незнакомых и воображаемых. Когда играла в «Шторме», приписала к тексту свои слова. В 20-х годах жила трудно, на базаре меняла вещи на продукты и видела, и слышала там много любопытного. Это мне помогло. Если же лицо пьесы непонятно и неизвестно по жизни, работа идет труднее.

Для тех, кто «Шторм» не смотрел, необходимо коротенькое добавление. В спекулянтке разгадан и явлен тип: тип явления, а не только человека. Человек может выглядеть вполне респектабельно, вполне современно, но коль скоро он спекулянт, в душе его, как в душе героини Раневской будет жить и алчность, и страх, и изворотливость. Под любой личиной, но они будут существовать.

— Доверяю впечатлению от первого чтения пьесы; иногда это впечатление предопределяет все дальнейшее. Иногда образ возникает от внешнего представления, но внешнее всегда служит выражением внутренней сути. Они должны совпасть.

Жест и мимика появляются с рождением человека — роли, работа же над ролью продолжается до тех пор, пока пьеса не сойдет со сцены. А работают актеры всегда и везде. Я вонзаюсь в того, кого изображаю.

— Кого бы вы назвали мастером?

— Того, кто понимает, для чего и для кого он на сцене.

— «Для кого» — это для публики?

— Для народа.

— Когда возник этот взгляд на профессию?

— Сразу такое не приходит, приходит с годами. А вначале была только радость.

Н. ЛОРДКИПАНИДЗЕ

Новое есть талант

Листы глянцевитой плотной бумаги аккуратно разрезаны пополам и исписаны крупным изящным почерком. Свободным. Даже тогда, когда автор хочет что-либо добавить к уже сказанному, рука его не торопится, и слова ложатся поверх строк так же изящно и четко. Пишущий знает, что он хочет сказать, и потому не сбивается — иногда только уточняет мысль.

Написанное делится на короткие абзацы, и каждый абзац пронумерован. Всего их пятнадцать — по числу вопросов, которые мы задали Фаине Георгиевне Раневской.

Нам и раньше приходилось беседовать с ней на аналогичные темы, но, коль скоро речь зашла о том, что сказанное может быть опубликовано, Раневская захотела точности и определенности. Мало ли как можно понять друг друга, даже при желании понять и верно передать понятое.

Что это — педантичность? Преувеличенное внимание к себе? Вопросы риторические, признаемся сразу, притом что сразу скажем: Раневская не из тех, кто хочет и способен притворяться, будто не знает, интересуются ею или нет. Знает, что интересуются, но даже если бы она не была известна, ответы все равно продумывались бы и писались, потому что и вопросы, и ответы касаются главного в ее жизни — театра.

Понимаем, что и это утверждение может прозвучать риторически. Когда пишется что-либо в похвалу человеку, обязательно утверждается, что он предан своему делу. Утверждение это стало общим местом, хотя и верно по существу. Только вот одно: чему предан человек? Делу или тому, чем дело в состоянии его лично вознаградить? Что он ценит в первую очередь: известность, успех и вытекающие отсюда последствия, ради которых он действительно готов трудиться в поте лица, или последствия для него — всего лишь производное от чего-то неизмеримо большего, стоящего в ином ряду?

У Раневской трудный характер. Есть вещи, к которым она нетерпима, и тут уж ничего не поделаешь, как ни старайся. «Когда на репетиции в руках моего партнера я вижу смятые, слежавшиеся листки — отпечатанную на машинке роль, которую ему не захотелось переписать своей рукой, я понимаю: мы говорим с этим человеком на разных языках. Вы подумаете: пустяк, мелочь, но в пустяке труднее обмануть, чем в крупном. В крупном можно притвориться, на пустяки же, как правило, внимания не тратят».

Хотим понять, что для нее в этих слежавшихся листках?

Только ли знак небрежности, лености, которые сами по себе достаточно несимпатичны, или есть тут связь с другим: с самой ролью, с тем, как она готовится, обдумывается? Короче — с процессом творчества?

…

ВОПРОС: Подготавливая роль, интересуетесь вы ею или всей пьесой?

ОТВЕТ: Конечно же надо знать пьесу, продумать ее и додумать. Если пьеса современная, то, с разрешения автора, что-то и приписать к роли. Если это необходимо…

…

Теперь, пожалуй, ясно, чем вызвано недоверие к актеру: тем, что его работу делает другой. Тем, что это он, посторонний, еще и еще раз читает пьесу, отыскивая в ней твои реплики. Тем, что ты невольно, сам того не желая, но и не утруждая себя заботой, лишаешься возможности лишний раз остаться с текстом наедине.

Почему-то вспоминаются записи, хранящиеся в архиве музея Художественного театра. Красиво переплетенная тетрадь уже выцвела, но видно, как тщательно она сделана, как старателен труд человека, заполнившего ее листы. Человек — польд Сулержицкий, личность с биографией необыкновенной, отмеченной печатью страстности, даже неистовства. А между тем тщательность тетради не удивляет — скорее наоборот. Сулержицкий занимается тем, что увлекало его в ту пору жизни больше всего, и вносит в свое увлечение — свое дело — весь жар души. А делом его была «система Станиславского», в то время едва зарождавшаяся. Он был конфидентом Константина Сергеевича, наблюдал за его репетициями, записывал их. Выдержки из своих записей он и собрал в отдельную тетрадь и подарил эту тетрадь учителю.

При этом хочется напомнить, что были они в то время в расцвете сил, были очень известны, были, что называется, нарасхват, но один счел для себя необходимым пересмотреть и переписать заметки, которые велись на протяжении нескольких лет, а другой — не просто принять подарок, но прокомментировать то, что было в тетради. Поверх записей Сулержицкого — карандашом пометки Станиславского.

Целое складывается из разного — из малого в том числе.

…

ВОПРОС: Жизненное событие или ваше собственное переживание служит вам материалом для актерской работы?

ОТВЕТ: Материалом для работы служит и свое, и чужое.

…

ВОПРОС: Ищете ли вы в себе или в окружающих черты

роли?

ОТВЕТ: Черты роли беру ото всех — от себя самой, от знакомых, незнакомых и воображаемых.

…

Время от времени чеховскую «Свадьбу» показывают по телевидению. Время от времени мы видим, как Осип Абдулов и Алексей Грибов не спеша подходят к закусочному столику, не спеша выпивают рюмку-другую и так же не спеша ведут беседу на тему о том, есть ли в Греции тигры, львы и кашалоты. «В Греции все есть» — именно здесь это меланхолически произносится, и здесь же вы слышите: «Что ж зря-то пить и закусывать?»

Вы знаете, что слова эти произносит Фаина Раневская, вы ждали ее появления так же, как диалога первых двух, но все-таки и то и другое для вас не только внове, но каждый раз желанно и интересно. Отчего?

Проще да, пожалуй, вернее всего сказать: оттого, что лица эти — живые. Достоверность их для нас безусловна, и безусловна во всем — от взгляда до построения фразы. Персонажи реальны, и реальны настолько, что в реальности этой видится нечто гораздо более значительное, нежели просто жизненное сходство.

Белинский писал о «Ревизоре», что сочинение это больше похоже на действительность, нежели действительность похожа на самое себя, потому что пьеса замкнула в себе все черты подобной действительности. Речь, следовательно, о типизации, об обобщении, что для художника — высшая ступень, а для тех, кто с подобного рода искусством встречается, — высшее наслаждение. Не только герой нам открывается — каков он есть и что за такими, как он, встает, но человек, который этого героя сумел в жизни разглядеть и нам представить.

За персонажами Раневской угадывается она сама, и потому, какие бы роли ей ни приходилось играть, даже самые маленькие, следить за ней все равно интересно. Не за ролью — за актрисой.

Тут, следуя правилам, надо бы сказать, что у Раневской есть своя тема и что тема эта в том или ином обличье, но угадывается во всех ее работах. Тема действительно угадывается, но она не доминирует, а лишь освещает творчество актрисы дополнительным — скрытым — светом. Главенствует же другое, и это другое есть удивительная способность художника видеть и угадывать в жизни многое и разное. Не бояться этого разного, не подгонять его «под ранжир», но дать таким, какое оно есть, постигая закономерность образа и события в ходе отображения, воплощения.

Не потому ли в списке ролей, сыгранных Раневской, так естественно соседство мадам Скороход из роммовской «Мечты» и

странной миссис Сэвидж, Бэрди из «Лисичек» и Люси Купер из «Дальше — тишина» со спекулянткой из «Шторма» Билль-Белоцерковского, свахи из «Последней жертвы» и Бабушки из «Деревья умирают стоя»?

…

ВОПРОС: При подготовке роли вы идете от внешнего к внутреннему или наоборот?

ОТВЕТ: Это зависит от роли. Иногда образ возникает мгновенно, в воображении, я сразу начинаю его видеть, понимать. Иногда рождается от внешнего. Но ведь внешнее — выражение внутреннего. Стиль — это человек. Хочется работать, как работала Голубкина, конечно же не надеясь, что можно ее повторить смертному!

…

На одной из книжных полок, как раз в той комнате, где мы находимся, — репродукция со скульптурного портрета Лермонтова работы Голубкиной. Сила и жизненность его лица удивительны. «У меня была книжка о Тарханах. Там есть фраза Льва Толстого, смысл которой в том, что, если бы Лермонтов был жив, ни он, Толстой, ни Достоевский не были бы нужны».

Как-то неловко упоминать, настолько это само собой подразумевается, что Раневская превосходно образованна. Что в ее доме если что-то и есть, то книги, и они не стоят в чинном порядке, но то и дело перемещаются. Либо на столик у изголовья кровати — столик одновременно и изножье зеркала, либо в гостиную — она же кабинет и комната «за все». Книги здесь не только на русском языке и далеко не всякие, но те, без которых разговор об интеллигентности просто-напросто невозможен.

И хорошую живопись — не купленную, дареную — вы в этом доме увидите, и фотографии тех людей, которые, возможно, занимали ваше воображение. Ахматова, Анджапаридзе, Уланова, Качалов, Пастернак, Шостакович, Акимов — дружественные слова, посвященные хозяйке, не натянуты, но проникнуты уважением и нежным чувством.

К чему весь этот рассказ? К тому, наверное, что настоящее дается не просто так. Что-то, конечно, дается, приходит само собой, как «дар небес», но почему-то, коль скоро встречаешься с дарованием подлинным, обязательно выясняется, что и этим он интересуется, и тем, и это знает, и то, и работает как проклятый, и на все у него хватает времени, кроме суеты.

В один из дней в «Иллюзионе» показывали фильм с участием знаменитой американской актрисы Бэт Девис. «Вы не видели, как она играет Елизавету? (Фильм был о королеве Елизавете Английской. — *Н. Л.*). Обязательно посмотрим. Если билетов не

будет, стулья нам поставят, не беспокойтесь. Я часто там бываю, меня уже знают».

Пошли. Стулья в конец зала нам действительно поставили, и Бэт Девис играла превосходно. Позже выяснилось, что Раневская просмотрела весь цикл ее картин, который шел в то время в «Иллюзионе». Восхищалась? Училась?

Спрашиваем и, что греха таить, думаем, что предугадываем ответ, который оказывается не только иным, но заключает в себе нечто чрезвычайно поучительное.

…

ВОПРОС: Забываетесь ли вы целиком в роли?

ОТВЕТ: Я не понимаю, как можно целиком забываться. Сумасшедшие только забываются — так и парик недолго с себя сорвать. Живу жизнью того, кого изображаю, не забываясь.

…

В день спектакля звонить Раневской не рекомендуется и за день до спектакля тоже — в том случае, разумеется, если вы собираетесь беседовать с ней долго и на посторонние темы. Во-первых, говорить с вами она не станет, а во-вторых, если даже и пересилит себя, нельзя будет не почувствовать ее безумного волнения. Парадокс — если знать, что так было всегда: и когда она только начинала, и теперь, когда мастерству ее все подвластно.

…

ВОПРОС: Преображаетесь ли вы с утра в то яйцо, которое играете вечером?

ОТВЕТ: Сосредоточенна с утра, беспокойна с утра до спектакля и накануне — с вечера.

…

ВОПРОС: Как вы воспринимаете партнера — как лицо пьесы или как актера?

ОТВЕТ: Партнер для меня все. С талантливым становлюсь талантливой, с бездарным — бездарной. Никогда не понимала и не пойму, каким образом великие актеры играли с неталантливыми людьми. Кто и что их вдохновляло, когда рядом стоял некто с пустыми глазами? (Не кажется ли вам, что этот ответ — в ряду тех, что затрагивают природу творчества? Суметь отрешиться от реального представления о человеке и видеть в нем — реально — лицо воображаемое, вымышленное?)

…

Я перестала играть любимую роль — миссис Сэвидж, когда не стало Вадима Бероева. Играя музыканта, он специально выучил

трудные пьесы, которые должны были звучать в спектакле. Он был правдив, и его личные качества — добрая душа — сказывались в том, что он делал на сцене.

Моя учительница, прекрасная русская актриса Павла Леонтьевна Вульф, говорила: «Будь благородна в жизни, тогда тебе поверят, если ты будешь играть благородного человека на сцене».

Что подвластно Раневской? Все. Она может заставить вас смеяться и может заставить плакать. Но когда вы будете плакать, слезы появятся у вас на глазах не оттого только, что вы будете мимолетно растроганы, но оттого, что долго будет звучать у вас в душе отзвук чужого горя, тревожа и вопрошая совесть. А когда вы будете смеяться, в вас будет удивление и удовольствие от той проницательности и мощи, с которыми актриса обнаружит то, что достойно стыда. И вам никогда не будет скучно на спектаклях Раневской, сколько бы вы их ни смотрели, — они будут согреты жаром ее души, ее волнением, ее артистизмом. И даже в кино, где все зафиксировано раз и навсегда, вам все равно будет казаться, что вы видите что-то новое. Это новое есть талант.

Н. ЛОРДКИПАНИДЗЕ

Юбилей Ф.Г. Раневской

«Мечтаю сыграть учительницу…»

Театральная общественность столицы отмечает 80-летний юбилей народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР Ф. Г. Раневской. Своих юбилеев сама Фаина Григорьевна не празднует. Не любит давать интервью.

Поэтому мы не поехали к ней, а просто позвонили по телефону, попросив сказать несколько слов нашим читателям.

— Знаете, о чем я мечтала всю жизнь? — сказала актриса. — Сыграть учительницу. Наверное, поэтому завидовала и Чиркову, и моему товарищу по театру Вере Петровне Марецкой. Что привлекает меня в образе учителя? Пожалуй, искреннее стремление жить для других — чего как раз недоставало многим моим героиням. Ведь это прекрасно — жить для других. Это подвиг, если хотите…

Да, это действительно прекрасно. И мы подумали, что это в полной мере относится и к самой Фаине Григорьевне. Ведь ее тоже с полным правом можно назвать учителем, что у Раневской есть десятки и даже сотни учеников, работающих теперь во многих театрах. А разве мы не учились у героев Раневской? Разве, создавая свои образы на сцене и в кинематографе, актриса не призывала нас нести людям добро и счастье? Давайте вспомним «Человека в футляре», «Любимую девушку», «Подкидыша»… Или хотя бы одну из самых последних ее работ в театре — роль мисс Люси Купер в спектакле по пьесе В. Дельмара «Уступи место завтрашнему дню» («Дальше — тишина»), блестяще поставленном в Московском академическом театре имени Моссовета Анатолием Эфросом…

— Я начала свою жизнь в кинематографе, — рассказывает Раневская, — в 1934 году, сыграв в фильме Михаила Ромма «Пышка» роль госпожи Луазо. А через несколько лет на экраны нашей страны вышел один из самых моих любимых фильмов — «Подкидыш». В работе над этим фильмом я убедилась, что актеру в какой-то степени всегда необходимо обладать даром педагога. Вы помните сюжет? Муж и жена нашли девочку и стали ее воспитывать. Я играла роль жены, и маленькую Веронику Лебедеву, исполнявшую роль нашей юной героини, мне пришлось воспитывать в самом буквальном смысле слова. Сейчас я вспоминаю это с удовольствием.

С детьми работать всегда трудно. В кино, наверное, особенно.

Там своя специфика, свои, подчас изнурительные условия. Актер должен всегда чувствовать партнера независимо от того, ребенок это или нет. Должен понять мир ребенка. Потому и родственны наши профессии — актера и школьного учителя…

Фаина Григорьевна не раз выступала в школах перед юношеской аудиторией. Обращалась к мальчикам и девочкам в радио— и телепередачах. Примем как правило, актриса начинала серьезный разговор о месте человека в жизни, в обществе, учила детей уважать и ценить труд, раскрывала перед ними красоту человека.

Не только словом, но и делом часто помогала актриса Раневская людям. Ее большой друг, народная артистка РСФСР Д. В. Зеркалова, вспоминает такой случай. Однажды после очередной дискуссии в школе к Раневской подошла молоденькая учительница и стала жаловаться на одного из своих питомцев — мальчишка совсем отбился от рук. На следующий день Фаина Григорьевна пригласила паренька к себе домой. Она не сомневалась, что после вечера в школе он придет к ней. И не ошиблась. Раневская расспрашивала паренька о семье, о классе… И мальчик рассказывал. Рассказывал потому, что поверил ей. Оказалось, он любит рисовать. Потом Раневская помогла ему поступить в художественный техникум.

И наверное, таких примеров сама Фаина Григорьевна может привести много. Но она не любит об этом говорить, потому что считает все это в порядке вещей.

Героинь Раневской всегда выделяло стремление проникнуть в самую суть окружающего. Совсем недавно такой мы увидели миссис Этель Сэвидж в пьесе прогрессивного американского писателя и драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж». А сейчас Раневская с блеском играет Глафиру Фирсовну в «Последней жертве» А. Н. Островского. Играет тонко, обнажая перед зрителем нравственные идеалы своей героини, ее душу, мысли…

— Хочу много играть, — говорит актриса. — Человек в восемьдесят лет становится мудрым. Нужно успеть о многом рассказать своим зрителям…

Мы поздравили Фаину Григорьевну. Пожелали ей новых сил, новой интересной работы. И как бы возвращаясь к началу нашего разговора, она сказала:

— Обязательно сыграю учительницу. Такую, знаете ли, старую, мудрую. Представляете, на склоне лет она снова встречается со своими учениками, теми, кому посвятила жизнь… И жизнь, оказывается, прожита не напрасно… Обязательно сыграю!

А. КАРАУЛОВ,
г. Москва

Фаина Раневская: Они любят меня? за что?!

Вам отпущено свыше…

В августе этого года замечательной русской актрисе Фаине Георгиевне Раневской исполнилось бы 100 лет. Ее знают и любят зрители разных поколений по участию в фильмах «Мечта», «Подкидыш», «Весна», «Золушка», по потрясающим театральным работам — миссис Сэвидж («Странная миссис Сэвидж»), Люси Купер («Дальше — тишина»), Филицата («Правда — хорошо, а счастье — лучше»), да и многим другим. Ей одинаково удавались и ярко комедийные, и исполненные глубокого драматизма роли…

Предлагаем вашему вниманию воспоминания людей, близко знавших актрису, — ее партнеров по сцене и друзей, поклонников. А также сохранившиеся записи и высказывания самой Фаины Георгиевны.

> «Зачем? Зачем они мне хлопают? Они любят меня? За что? Сколько лет мне кричали на улице мальчишки: „Муля, не нервируй меня!“ Хорошо одетые надушенные дамы протягивали ручки лодочкой и аккуратно сложенными губками вместо того, чтобы представиться, шептали: „Муля, не нервируй меня!“ Государственные деятели шли навстречу и, проявляя любовь и уважение к искусству, говорили доброжелательно: „Муля, не нервируй меня!“ Я не Муля. Я старая актриса и никого не хочу нервировать. Мне трудно видеть людей. Потому что все, кого я любила, кого боготворила, умерли. Сколько людей аплодируют мне, а мне так одиноко. И еще… я боюсь забыть текст. Пока длится овация, я повторяю без конца вслух первую фразу: „И всегда так бывает, когда девушек запирают“, — на разные лады. Боже, как долго они аплодируют. Спасибо вам, дорогие мои. Но у меня уже кончаются силы, а роль все еще не началась… Я помню, как выходили под овацию великие актеры. Одни раскланивались, а потом начинали роль. Это было величественно. Но я не любила таких актеров. А когда на выход овацию устроили Станиславскому, он стоял растерянный и все пытался начать сквозь аплодисменты. Ему мешал успех. Я готова была молиться на него… „Муля, не нервируй меня!“ Я сама выдумала эту фразу. Я выдумывала большинство фраз, которые потом повторяли, которыми дразнили меня. В сущности, я играла очень мало настоящих ролей. Какие-то кусочки, которые потом сама досочиняла. В

Островском нельзя менять ни одного слова, ни одного! Я потому и забываю текст, что стараюсь сказать абсолютно точно, до запятой. А все кругом говорят приблизительно. Не ценят слова. Не ценят Островского. И всегда так бывает, когда меня нервируют… Муля! Не запирай меня! Всегда так бывает…»

О своей партнерше рассказывает артист Сергей Юрский:

«…Раневская приезжает на спектакль рано. И сразу начинает раздражаться. Громогласно и безадресно. Ей отвечают тихо и робко — дежурные, уборщицы, актеры, — они не могут поверить, что великозвучное „Здравствуйте!!!“ относится к ним. Раневской кажется, что ей не ответили на приветствие. И лампочка горит тускло. И ненужная ступенька, да еще полуспрятанная ковровой дорожкой. Раневская раздражается, придирается. Гримеры и костюмеры трепещут. Нередки слезы. „Пусть эта девочка больше не приходит ко мне, она ничего не умеет“, — гремит голос Раневской. Я сижу в соседней гримерной и через стенку слышу все. Как режиссер я обязан уладить конфликт — успокоить Фаину Георгиевну и спасти от ее гнева несчастную жертву. Но я медлю. Не встаю с места, гримируюсь, мне самому страшно. Наконец, натянув на лицо беззаботную улыбку, я вхожу к ней.

— Я должна сообщить вам, что играть сегодня не смогу. Я измучена. Вы напрасно меня втянули в ваш спектакль. Ищите другую актрису.

Я целую ей руки, отвешиваю поклоны, говорю комплименты, шучу сколько могу. Но сегодня Раневская непреклонна в своем раздражении.

— Зачем вы поцеловали мне руку? Она грязная. Почему в вашем спектакле поют? У Островского этого нет.

— Но ведь вы тоже поете… и лучше всех нас.

— Вы еще мальчик, вы не слышали, как поют по-настоящему. Меня учила петь одна цыганка. А вы знаете, кто научил меня петь „Корсетку“?

— Давыдов.

— Откуда вы знаете?

— Вы рассказывали.

— (*Грозно*). Кто?

— Вы.

— Очень мило с вашей стороны, что вы помните рассказы никому не нужной старой актрисы. (*Пауза. Смотрит на себя в зеркало.)* Как у меня болит нос от этой подклейки.

— Да забудьте вы об этой подклейке! Зачем вы себя мучаете?

— Я всегда подтягиваю нос… У меня ужасный нос… Не лицо, а ж… Ищите другую актрису. Я не могу играть Островского без суфлера. Что это за театр, где нет суфлера?!

— Фаина Георгиевна, и я, и Галя, мы оба будем следить по тексту.

— Вы — мой партнер, а Галя — помреж. Суфлер — это профессия! Не спорьте со мной!.. Что это за театр, где директор никогда не зайдет, чтобы узнать, как состояние артистов! Им это, наверное, неинтересно.

В дверях появляется внушительная фигура директора театра.

— Здравствуйте, Фаина Георгиевна! Раневская подскакивает от неожиданности:

— Кто здесь? Кто это?

— Это я, Фаина Георгиевна, Лев Федорович Лосев. Как вы себя чувствуете?

— Благодарю вас, отвратительно. Вы знаете, что в нашем спектакле режиссер уничтожил суфлерскую будку? И я вынуждена играть без суфлера.

— Фаина Георгиевна, у нас в театре вообще нет суфлерской будки.

— А где же сидит суфлер?

— У нас нет суфлера. Но Сергей Юрьевич мне говорил, что Галя…

— Сергей Юрьевич — мой партнер, а Галя — пом. реж… Суфлер — это профессия. Но я благодарю вас, что вы зашли. Теперь это редкость… Странное время. Суфлерской будки нет, пьес хороших нет, времени ни у кого нет, а зрительный зал полон каждый вечер…

Так случилось, что многие годы она провела почти безвыходно в четырех стенах. Но сохранила острое любопытство к жизни во всех проявлениях. Едкая насмешливость при постоянно возвышенном складе ума и сердца. Не терпела „тонность“ в обращении, но при этом для нее органически была неприемлема малейшая фамильярность. Тяга к общению и потребность к одиночеству. Безмерная печаль и могучий нутряной оптимизм… Вся семья эмигрировала после революции. Она — единственная из семьи — осталась. С народом, с революцией, с русским театром. Так говорила Раневская — не с трибуны, не в интервью, а в своей комнате один на один среди разных других разговоров. Канаты, канаты сплетались в ней! Огромный масштаб. Карта в размер самой местности. Глубина памяти в размер века… Ей бы Грозного играть! Вот тут бы она выдала, да жаль — роль мужская…»

«Научиться быть артистом нельзя, — писала Раневская. — Можно развить свое дарование, научиться говорить, изъясняться, но потрясать — нет. Для этого надо родиться с природой актера».

Из воспоминаний актрисы Камерного театра Нины Сухоцкой:

Трудно о ней писать. Она как-то вываливается из всех рамок. Раневская «пошла в актрисы», не имея ни поддержки, ни протекции. Без специального образования (не приняли в театральный институт как неспособную!), она осталась в ранней молодости совсем одна (вся ее семья эмигрировала). Ее поводырем была лишь вера в призвание… Я часто вспоминаю Фаину Георгиевну дома после спектакля. Войдя в квартиру, скинув пальто, она опускалась в кресло в передней, предельно усталая, «выпотрошенная», очевидно, от этой огромной эмоциональной отдачи на сцене и в то же время возбужденная, взбудораженная тремя-четырьмя часами этой полной отдачи. Часто она была еще в гриме… На мой вопрос обычно отвечала: «Играла ужасно! Совсем не могла играть! Какая же я бездарная!» — «Но сюда уже звонили люди, бывшие на спектакле, выражали свой восторг. Говорят, ты играла чудесно…» — «Ах, что ты их слушаешь! Я была совсем не в роли, а аплодисменты… Просто зрители по-доброму принимают все, что я делаю, — они меня любят!»

…Большую часть личной жизни Раневской составляла переписка. Письма приходили со всей страны: добрые, наивные, глупенькие, интересные и пустенькие, и на все Фаина Георгиевна непременно отвечала: «Это невежливо — не отвечать, да и как же можно обидеть человека!» Сотнями покупала я ей почтовые открытки для ответов, и всегда было мало…

Раневская не признавала сочувственных слов, а немедленно оказывала помощь чем только могла даже совсем незнакомым людям. Будучи сама без денег, отдавала последнее. И делала это легко, просто, не придавая значения. Говорила: «Самое главное — я знаю: надо отдавать, а не хватать. Так и доживаю с этой отдачей»… Из всех писателей мира — самый любимый, боготворимый — Пушкин. Он постоянно был с ней. На столике у кровати и на письменном столе всегда жили томики Пушкина. «Все думаю о Пушкине. Пушкин — планета!»

…С Анной Андреевной Ахматовой ее связывала многолетняя дружба. Особенно она стала тесной в эвакуации, в Ташкенте, куда Ахматову привезли совсем больную из блокадного Ленинграда.

Трогательно выхаживая ее, Фаина Георгиевна отдавала что повкуснее из своего скромного пайка и по ночам героически выламывала доски из заборов, чтобы протопить ее печурку…

Фаина Георгиевна была прекрасным импровизатором. Когда у нее собирались друзья, она рассказывала и проигрывала забавные сценки из прошлой и нынешней жизни — по ходу уморительно смешного текста возникали утрированные до гротеска и все же очень достоверные персонажи. То это были шансонетки, виденные ею в кафешантанах в юности, то целая армия квартирных хозяек, у которых она снимала комнаты во время работы в провинции, то продавцы в магазинах.

…В дни рождения Раневской объявлялся «день открытых дверей». И с утра до позднего вечера принимала она гостей, нарядная, приветливая, особенно красивая. Стол ломился от яств на взятой у соседей «напрокат» посуде. В этот день приезжала непременно Галина Уланова, художники Вадим Рындин, Милий Виноградов и… да всех и не перечесть. А со стен смотрели фотографии с восторженными словами, которыми она очень гордилась. «Самому искусству — Раневской», — утверждает Борис Пастернак. «Великой Фаине с любовью — Святослав Рихтер». И горячо любимый Качалов, закуривая, хитро улыбаясь: «Покурим, покурим, Фаина, пока не вернулася Нина». Уланова в «Жизели», и Шостакович, и Нина Тимофеева в «Макбете», и Твардовский, и Инна Чурикова, и Николай Акимов, и Мария Бабанова, и Любовь Орлова — они смотрят с фотографий, шлют ей свое поклонение, свою любовь.

А впрочем, о ней не расскажешь в коротких строках. Ее надо было слышать на сцене и видеть на экране…

Подготовила Елена КУРБАНОВА

Фаина Раневская: Я так люблю жизнь

27 августа 1896 года родилась актриса Фаина Георгиевна Раневская

Перед Фаиной Георгиевной Раневской театр и кино в долгу: за свою жизнь она сыграла не так уж и много. Зато каждая из ее ролей — маленький шедевр. Раневская была потрясающей актрисой и совершенно уникальной личностью.

Этим записям — двадцать с лишним лет. Я тогда пришла к Фаине Георгиевне Раневской за интервью. Скромная квартира, старая, потертая мебель, списанная из Театра имени Моссовета, где Раневская работала. Украшали комнату лишь высокие, под потолок, растения в кадках.

Еще были полки с множеством книг, которые хозяйка всем раздаривала. А на стене — фотографии Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Максимилиана Волошина, Владимира Маяковского, Галины Улановой, Василия Качалова, с надписями, полными любви и восхищения. Автограф Дмитрия Шостаковича был заклеен полоской бумаги.

— Он обо мне очень хорошо написал. Неловко показывать, — объяснила Раневская.

Встретила меня Фаина Георгиевна, сидя в любимом кресле и зябко кутаясь в темное драповое пальто с огромными пуговицами. Почему-то эти пуговицы особенно запомнились. И еще — поразительно светлое, лучащееся лицо Раневской под шапкой седых волос. О себе Фаина Георгиевна говорила мало, скупо, больше — о дорогих ее сердцу людях.

А потом Раневская в уютной кухне угощала меня кофе и дефицитными деликатесами из «заказа». От хозяйки ни на шаг не отходил лохматый пес-дворняга по кличке Мальчик. Когда-то он попал в эту квартиру с перебитыми лапами и был бесконечно предан выходившей его актрисе. Помню, как я была счастлива, когда Раневская доверила мне прогулять Мальчика по Тверскому бульвару. Сама Фаина Георгиевна из-за больных ног ходила с трудом, и собачьи прогулки обычно поручала соседке, отдавая ей за это половину скудной театральной зарплаты. А брать интервью мне так и не пришлось. Раневская просто вручила исписанные четким почерком страницы: «Ответы уже готовы. А вопросы придумаете сами!»

Вот ее воспоминания.

Обморок «от Станиславского»

Со Станиславским я встретилась раз в жизни. Я переходила Леонтьевский переулок, где он жил, и увидела седую голову Константина Сергеевича — он ехал на извозчике. От неожиданности в трансе закричала: «Мальчик мой дорогой!» Он расхохотался, кивнул мне и послал воздушный поцелуй. Родилась я в конце XIX века, обмороки были еще в моде — и я широко этим пользовалась. После воздушного поцелуя моего божества я, естественно, поспешила упасть в обморок. Систему Станиславского я не знаю, книга же его «Моя жизнь в искусстве» — всегда со мной. Станиславский-актер был моим потрясением. Особенно «въелся» в меня его Крутицкий из комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

Годы странствий

В театральную школу я не была принята по неспособности. Педагогом, сделавшим меня актрисой, была известная в то время артистка Павла Леонтьевна Вульф — человек необыкновенной доброты. Она стала со мной работать, устроила в театр в Крыму, куда была приглашена на гастроли. В Крыму нам очень помог Максимилиан Волошин — иначе мы там умерли бы с голоду. Павла Леонтьевна была ученицей прославленного артиста Давыдова, другом Комиссаржевской. И мне она преподала то, что узнала от своих учителей. Лучшие традиции театра стали мне дороги, а все, что связано с карьеризмом, саморекламой, — чуждо.

Мой Пушкин

Мне так близок Пушкин! Я не расстаюсь с ним и не перестаю удивляться его гению. Пушкин — это непостижимое чудо и… мой главный режиссер. Помните, Лаура в «Каменном госте»:

«Я вольно предавалась вдохновенью, / Слова лились, как будто их рождала / Не память рабская, но сердце…»

Когда я прихожу с репетиции, кидаюсь без сил на кровать, а там пушкинский том открытый. Читаю то, что давно знаю наизусть, — и все равно нахожу новое. И всегда плачу. А знаете, я ведь тридцать восемь лет прожила в доме Натали на Большой Никитской. Там роскошные комнаты разделили на коммунальные клетушки. И я жила в лакейской.

Ахматова и другие

Анну Андреевну Ахматову я очень любила, молилась за нее. Она была моим идолом. Когда мы говорили с ней о Пушкине, я от волнения начинала заикаться. А она вся делалась воздушная, неземная. Памятник Пушкину в Москве Ахматова не любила — уверяла, что Александр Сергеевич так никогда не стоял. И ненавидела двух женщин — Наталью Николаевну Гончарову и жену Достоевского Анну Григорьевну Сниткину. Говорила: «За мещанство!»

Она считала, что Достоевский женщин не знал и Настасью Филипповну в «Идиоте» поэтому придумал: «Никакая женщина не бросит сто тысяч в печку, в камин, в огонь!» Ахматова очень «чувствовала» писателя. Когда я впервые читала «Мертвые души», то поначалу смеялась, а потом стало страшно — так и не дочитала. Сказала об этом Анне Андреевне, а та в ответ: «А знаете, кто такой был Гоголь? Дьявол, душенька!» Я испугалась, закричала даже… Докторскую мантию, которую Ахматова получила за границей, она называла смешно — «ученое манто». Еще, помню, в Анну Андреевну влюбился Гаршин — племянник писателя — и она собралась за него замуж. Я тогда сочинила двустишие:

«Давно пора тебе, mon ange,
Сменить свой нимб на флердоранж».

Ахматова так хохотала!

О театре

Я «переспала» почти со всеми театрами Москвы — все искала святое искусство. В телевизионной передаче обо мне ведущая спросила: «И где же вы его нашли?» Я ответила: «В Третьяковской галерее». А в наш театр вхожу, как в дворницкую, только вот квасом не пахнет.

Мои любимые роли — в пьесах Чехова. Переиграла почти во всех — конечно, то, что могла. В молодости очень любила роль Наташи в «Трех сестрах». Меня всегда интересовал вопрос — почему я, человек душевно опрятный, ужасно люблю играть негодяек? Почему наслаждаюсь, когда играю спекулянтку Маньку в «Шторме» — роль, которую с разрешения автора сочинила сама? Наверное, мне просто интересно показывать то, что во мне самой отсутствует. Сейчас вот репетирую няньку Фелицату в комедии Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше». Но Фелицата мне нравится, она — добрая. А знаете, почему эта пьеса

сейчас современна? Там все — жулики!

О себе

Ненавижу о себе говорить или писать. Слова Стендаля: «Когда у человека есть сердце, лучше, чтобы его жизнь не бросалась в глаза», — это и мой принцип. Вот только не понимаю, как я с таким принципом пошла на сцену.

Я сама — застенчивая. Играть боюсь страшно! А играю шестьдесят лет. И все боюсь, боюсь…

Как-то меня спросили, почему я живу так скромно, почти бедно — нет ни фарфора, ни хрусталя. По-моему, разговор был в кухне, я что-то жевала. И сказала: «Мое богатство в том, что мне оно не нужно!»

Воспоминания актрисы сберегла Татьяна ИСКАНЦЕВА

Фаина Раневская: «Театр будет жить вечно…»

Погасли окна в доме Фаины Григорьевны Раневской. Ушла от нас легендарная, объединявшая своим творчеством несколько поколений признательных зрителей, поистине народная артистка, отдавшая театру и кино семьдесят лет жизни.

У нас была возможность несколько лет назад стать читателями ее мемуаров. Но тогда Фаина Григорьевна, почти завершив их, посчитала нескромным выставлять напоказ свои чувства. И решительно, темпераментно, как и все, что она делала в жизни, рукопись уничтожила.

Но сегодня, обратившись к многочисленным публикациям об актрисе, статьям, интервью, корреспонденциям, рассказам коллег ее и друзей, мы сможем в какой-то степени представить, насколько интересной могла быть книга о жизни этой талантливой, мудрой женщины. Рассыпанные по страницам газет и журналов в разное время высказывания Ф. Г. Раневской, ответы на вопросы читателей, корреспондентов, теплые приветствия, обращения к друзьям, зрителям, размышления об искусстве, жизни, призвании поражают глубиной мысли. В них звучит неповторимый голос великой актрисы Фаины Григорьевны Раневской.

> …В семнадцать лет я впервые попала в МХАТ на «Вишневый сад». После спектакля, когда все разошлись, как зачарованная, продолжала сидеть в темном зале. Кто-то меня окликнул: «Спектакль давно кончился, иди домой!» — «Куда же я теперь пойду?!» …Станиславский-актер был моим потрясением. До конца дней буду его вспоминать, а видела более полувека назад. Особенно «въелся» его Крутицкий из комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Систему Станиславского не знаю, книга же его «Моя жизнь в искусстве» — всегда со мной.

* * *

Мне кажется, что актер должен меньше говорить о себе, а стараться больше и лучше играть.

В роли я не забываюсь. Сумасшедшие только забываются — так и парик недолго с себя сорвать. Живу

жизнью того, кого изображаю, а не забываюсь.

Партнер для меня всё. С талантливым становлюсь талантливой, с бездарным — бездарной.

Если я вижу в руках партнера скомканные, слежавшиеся листки со словами роли — я знаю, что мы с ним говорим на разных языках. Мелочь? В пустяке труднее обмануть, чем в крупном. В крупном можно притвориться, на пустяки же, как правило, внимания не тратят.

Материал для работы — и свое, и чужое. Черты роли беру от всех — от себя самой, от знакомых, незнакомых, воображаемых…

…Всё зависит от роли. Иногда образ возникает мгновенно, в воображении, и я сразу начинаю видеть, понимать. Иногда — от внутреннего. Иногда — от внешнего. А внешнее — оно тоже от внутреннего. Ведь «стиль — это человек»!

Моя учительница, прекрасная русская актриса Павла Леонтьевна Вульф, говорила: «Будь благородна в жизни, тогда тебе поверят, если будешь играть благородного человека на сцене».

Я мечтала всю жизнь сыграть учительницу. Жить для других — вот чего недоставало многим моим героиням. Ведь это прекрасно — жить для других! Это подвиг…

* * *

Счастлива, что родилась в Таганроге, городе, где родился Чехов…

Родина — это то главное, что создает твою личность. Я просто не представляю, как можно жить без Родины.

Захочется душевной передышки — тянусь к полке за чеховским томиком. Пушкиным я дышу. Мне иногда кажется, что он существует совсем рядом.

…Александр Сергеевич Пушкин был и остается спутником моей жизни. Он был со мной всегда, все долгие годы, что я живу на земле, пожалуй, еще прежде того, как я научилась читать.

Однажды я видела его во сне… Мне снилось, что он в крылатке и цилиндре шел то ли по Тверской, то ли по Новинскому бульвару. Он уходил от меня, и я видела его только со спины. Но я знала, что это Пушкин. Он ступал легко, поигрывая на ходу знаменитой тяжелой тростью.

И когда я поняла, что через секунду Пушкин уйдет и так никогда не увижу его лица, я окликнула: «Александр Сергеевич!» Пушкин обернулся, я увидела его светлые глаза, вьющиеся русые волосы его бакенбард; и Пушкин вдруг улыбнулся мне своей белозубой африканской улыбкой. И исчез…

Этому моему сну завидовала Анна Ахматова.

Очень люблю животных. Еще люблю читать. Но всему на свете предпочитаю работу. Это моя страсть, моя боль, мой праздник.

Каждый раз боюсь играть — страшно!

* * *

Как в дни, когда я начинала свою жизнь в театре, так и теперь я знаю, что служение театру — в существе своем служение людям, служение правде. Русский театр всегда был средоточием духовной жизни общества, его поиски всегда были исканиями нравственного, его триумфы всегда были победами его передовых идей.

Вот почему кажутся мне неверными пророчества неизбежного конца театра в век телевидения и кино. Театр будет жить вечно — не может умереть великое чудо возникновения искусства на глазах зрителя.

Театр — это ежедневный праздник. Именно поэтому он обязан быть вдохновенным и кропотливым трудом.

Меня всегда привлекали образы неустроенных, обойденных счастьем, но непременно сильных, интересных людей, богатых и сложных натур. Несчастья и слабости бесцветных, серењких людей, даже их «трагическая» неустроенность не вызывают во мне ни сострадания, ни любопытства.

Какая комедия нравится? Чаплинская. Смех, залитый слезами.

Что больше всего рассмешило? То, над чем меньше всего хотелось смеяться.

Только ролями с большой идеей, с большими мыслями я хотела бы заслужить любовь зрителя. Иногда мне кажется, что я по-настоящему еще не сыграла такой роли за долгие годы моей актерской работы.

Я в жизни своей не сделала девяносто девять процентов из ста.

Фаина Раневская: Театр — мой праздник

СЕГОДНЯ ЭТО ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК КАЗУС, НО ПУТЬ В ИСКУССТВО ФАИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ РАНЕВСКОЙ НАЧАЛСЯ С ПРОВАЛА: ЕЕ НЕ ВЗЯЛИ НИ В ОДНУ ИЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛ — «ПО НЕСПОСОБНОСТИ».

НАВЕРНОЕ, БУДУЩАЯ АКТРИСА УЖЕ С ПЕРВЫХ ШАГОВ БЫЛА ТАК ОШЕЛОМЛЯЮЩЕ СВОЕОБРАЗНА, НИ НА КОГО НЕ ПОХОЖА, ЧТО ЭТО СБИЛО С ТОЛКУ ЭКЗАМЕНАТОРОВ. ПОЗДНЕЕ ИМЕННО ЭТИ ЧЕРТЫ ПРИНЕСЛИ РАНЕВСКОЙ СЛАВУ.

Фаина Георгиевна рассказывает о злоключениях, которыми сопровождалось начало ее творческой биографии, со своим сочным, неповторимым юмором, и глаза ее искрятся таким молодым озорством, что трудно поверить: она на пороге 85-летия.

Мы беседуем с актрисой у нее дома в Южинском переулке. Статная, со свободно откинутой седой головой, она сидит в стареньком кресле и листает альбом художественных репродукций.

— Подарок Сергея Юрского к дню рождения, — поясняет Фаина Георгиевна. — Очень рада, что этот талантливый художник пришел в наш театр имени Моссовета. В прошлом сезоне он поставил комедию моего любимого драматурга А. Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше». В ней я занята в роли Филицаты. С нетерпением жду, когда в театре закончится летний перерыв и я снова выйду на сцену.

Не одно поколение зрителей восхищает щедрый талант Раневской, создавшей галерею образов, ставших классикой советской сцены и экрана. Это — Васса Железнова и спекулянтка Манька в «Шторме», трогательная Люси Купер в пьесе «Дальше — тишина» и гротескная Маргарита Львовна в «Весне». От природы наделенная редким комическим талантом (вспомните: вся страна повторяла ее уморительные реплики в «Подкидыше»!), актриса в то же время потрясала зрителей глубоким трагизмом в «Мечте» и «Лисичках».

Актриса прожила большую, яркую, необычайно интересную жизнь. Сама она считает, что больше всего ей повезло на людей, с которыми сводила судьба. С восторгом рассказывает Фаина Георгиевна о встречах с Маяковским, Цветаевой, Пастернаком, дружбе с Ахматовой, Качаловым, Улановой. Их фотографии с надписями, полными любви, признательности, восхищения, — на

стенах ее комнаты. Автограф Дмитрия Шостаковича прикрыт полоской бумаги, видна только подпись.

— Уж слишком лестно обо мне написал. Неловко показывать, — объясняет Раневская. И понимаешь, что для нее, человека удивительной скромности, наша беседа — лишь повод, чтобы добрым словом вспомнить дорогих ее сердцу людей.

Слушая Фаину Георгиевну, думаешь, какую замечательную книгу воспоминаний она могла бы написать. Оказывается, такая рукопись существовала, но, не удовлетворив взыскательного автора, была порвана в клочья: Раневская — человек решительный…

Говорят, у нее трудный характер. Наверное, это правда. Просто есть вещи, к которым она нетерпима, и тут уж ничего не поделаешь. Никому, даже самым даровитым из своих коллег, не прощает расхлябанности, зазнайства, фальши в жизни и творчестве, цинизма, неуважения к зрителю. Непомерно требовательная к себе, к исполнению каждой роли, проигранной, может быть, сотни раз, готовится, как к премьере. В канун спектакля никого не принимает, на телефонные звонки не отвечает.

— Боюсь играть, страшно! — признается актриса, смешно округлив глаза. Парадокс — если не знать, что так было всегда. И когда она только начинала, и теперь, когда ее актерский стаж насчитывает более шести десятилетий, а имя стало легендой.

И еще об одной черте Фаины Георгиевны нельзя не упомянуть — о ее отношении к молодым дарованиям. Именно Раневская привела когда-то Любовь Орлову в кинематограф, а студентке факультета журналистики Ие Саввиной, снявшейся в фильме «Дама с собачкой», прислала письмо со словами одобрения. Так же горячо поддержала она творческие поиски Инны Чуриковой и теперь искренне радуется каждому успеху своих любимиц — Марины Неёловой, Аллы Демидовой, Натальи Гундаревой.

Время, отведенное на беседу, давно истекло, но уж очень не хочется покидать гостеприимный дом, где так много книг и цветов, где растет огромное, упирающееся в потолок апельсиновое дерево и расхаживает по комнатам лохматый пес по кличке Мальчик — когда-то Раневская подобрала его на Тверском бульваре замерзающим, с перебитыми лапами.

— Очень люблю животных, — говорит Фаина Георгиевна. — Еще люблю читать. Но всему на свете предпочитаю работу. Это моя страсть, моя боль и мой праздник.

О. СВИСТУНОВА,
корреспондент ТАСС

— Как в дни, когда я начинала свою жизнь в театре, так и теперь я знаю, что служение театру — в существе своем служение людям, служение правде. Русский театр всегда был средоточием духовной жизни общества, его поиски всегда были исканиями нравственного, его триумфы всегда были победами его передовых идей. Вот почему кажутся мне неверными пророчества неизбежного конца театра в век телевидения и кино. Театр будет жить вечно — не может умереть великое чудо возникновения искусства на глазах зрителя. К тому же все значительные открытия нашего века, влияющие на человеческое мышление, непременно находят в искусстве театра свое отражение.

Сегодня «Неделя» открывает на своих страницах «Клуб завзятых театралов». Было бы хорошо, если бы этот клуб стал местом заочных, а может быть, иногда и настоящих встреч всех театральных людей, всех любящих драматическое искусство, знатоков богатейшей истории нашей сцены.

Театр — это ежедневный праздник. Именно поэтому он обязан быть вдохновенным и кропотливым трудом. Хотелось бы, чтобы внимание театралов было привлечено не только к творчеству актеров, режиссеров, художников, но и ко всем тем, кто радуется нашим победам, оставаясь в тени кулис.

Театр существует для всех, а не для избранных, однако театр горячо заинтересован в требовательном и увлеченном зрителе. Такой зритель, как никто, способен оценить и смелое новаторство, и бережное отношение к лучшим традициям русской сцены.

Фаина РАНЕВСКАЯ,

народная артистка СССР